

ДЖОН НОУЛЗ

# СЕПАРАТНЫЙ МИР



## Annotation

Уютный мирок привилегированной закрытой школы-интерната накрыла тень Второй мировой войны, и все, что казалось в нем привычным и неизблемым, вдруг утратило ясность и однозначность...

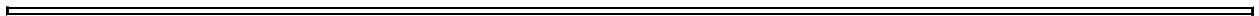
Между двумя друзьями – замкнутым, одаренным студентом Джином и спортсменом, настоящим сорвиголовой Финеасом – происходит собственная война, стирающая юношескую наивность и погружающая героев в мир реальности...

«Сепаратный мир» – это история о взрослении, дружбе и предательстве, трусости и раскаянии!

---

- [Джон Ноулз](#)
  - 
  - 
  - [Глава 1](#)
  - [Глава 2](#)
  - [Глава 3](#)
  - [Глава 4](#)
  - [Глава 5](#)
  - [Глава 6](#)
  - [Глава 7](#)
  - [Глава 8](#)
  - [Глава 9](#)
  - [Глава 10](#)
  - [Глава 11](#)
  - [Глава 12](#)
  - [Глава 13](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)

- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)



# Джон Ноулз Сепаратный мир

**John Knowles**  
**A SEPARATE PEACE**

© John Knowles, 1959

© Перевод. И. Доронина, 2017

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

\* \* \*

*Би и Джиму с благодарностью и любовью*

# Глава 1

Недавно я съездил в Девонскую школу, и она, как ни странно, показалась мне более новой, чем была пятнадцать лет назад, когда я в ней учился. И более спокойной, чем я ее помнил, более «прямоходящей» и строгой, с более узкими окнами и более блестящими деревянными панелями, словно для сохранности здесь все покрыли лаком. Впрочем, пятнадцать лет назад была война. Вероятно, в то время за школой не так хорошо следили, – возможно, лак, как и все остальное, уходил на военные нужды.

Не скажу, что мне очень понравился этот ее новый блеск, потому что теперь школа выглядела как музей, каковым она, в сущности, и была для меня, хотя мне очень этого не хотелось. Глубоко в душе, там, где чувство сильнее невысказанной мысли, я всегда ощущал, что Девонская школа начала свое существование в тот день, когда я в нее вошел, оставалась реальной и полной жизни, пока я в ней учился, и угасла как свеча в тот самый час, когда я ее покинул.

Тем не менее, вот она передо мной, сохраненная чьей-то заботливой рукой с помощью лака и воска. Сохранился вместе с ней, словно застоявшийся воздух в непрветриваемой комнате, и хорошо знакомый страх, который окружал меня и наполнял те дни так плотно, что я даже не осознавал его, ибо, не ведая иного состояния, вне этого страха, даже не догадывался о его присутствии.

Но теперь, обернувшись на пятнадцать лет назад, я с предельной ясностью увидел, в каком страхе жил тогда, и это, должно быть, означало, что за истекшее время мне удалось сделать нечто очень важное: избавиться от него.

Сейчас я слышал эхо того страха и ощущал буйную, безудержную радость, которая была его обратной стороной, аккомпанементом, и которая даже в те дни иногда прорывалась, освещая жизнь словно северное сияние на фоне черного неба.

Было два места, которые я хотел теперь увидеть. Оба – страшные, и увидеть я их хотел именно поэтому. Вот почему, позавтракав в гостинице «Девон», я пошел к школе. Стояло промозглое, не поддающееся определению время года ближе к концу ноября, сырой, словно жалующийся на судьбу ноябрьский день, когда становится заметным каждый комок грязи. К счастью, в Девоне такая погода случается редко –

ледяные оковы зимы или лучезарные нью-гемпширские лета для него более характерны, – но в тот день шел дождь и дул унылый порывистый ветер.

Я шел по Гилмен-стрит, лучшей улице города. Дома здесь были красивыми и такими же необычными, какими я их помнил. Улицу окаймляли бережно осовремененные старые колониальные усадьбы с пристройками из натурального дерева в викторианском стиле и просторные, похожие на храмы дома в стиле Греческого Возрождения, как всегда впечатляющие и неприступные. Мне нечасто доводилось видеть, чтобы кто-нибудь в них входил или чтобы кто-то играл на лужайке перед ними, и даже открытое окно здесь было редкостью. Сейчас, с поникшим плющом на стенах и голыми плачущими деревьями вокруг, эти дома казались более элегантными и еще более безжизненными, чем обычно.

Как все старые добрые школы, Девонская не была огорожена стенами и воротами, а как бы естественно выростала из города, ее породившего. Поэтому, приблизившись к ней, я не испытал внезапности момента встречи; дома вдоль Гилмен-стрит начали становиться еще более неприступными, это означало, что я близко к школе, а потом – еще более опустошенными, и это означало, что я в школе.

Было начало дня, площадки и здания пустовали, поскольку все разошлись по спортивным занятиям. Ничто не отвлекало меня, пока я пересекал широкий двор, называвшийся Дальним выгоном, и шел к зданию, такому же краснокирпичному и пропорциональному, как все остальные здешние крупные здания, но увенчанному просторным куполом с колоколом под ним и украшенному часами и латинской надписью над входом, это был Первый учебный корпус.

Войдя через вращающуюся дверь, я оказался в мраморном вестибюле и остановился у подножия длинного марша белых мраморных ступеней. Хотя лестница была старой, ступеньки посередине стерлись неглубоко. Должно быть, мрамор обладал необычайной твердостью. Похоже, так оно и было скорее всего, хотя, насколько я помнил, мысль о его исключительной твердости никогда не приходила мне в голову. Удивительно, что я упустил такой важный факт.

Больше ничего примечательного я не заметил; это была, безусловно, та же лестница, по которой я ходил вверх-вниз минимум раз в день на протяжении всей своей девонской жизни. Она была такой же, как всегда. А я? Ну я, в отличие от лестницы, естественно, чувствовал себя повзрослевшим – с этого момента я начал оценивать свое эмоциональное состояние, чтобы понять, насколько необратимым было мое «выздоровление», – сделался выше ростом и крупнее. У меня теперь было

больше денег, я стал успешнее и уверенней, чем тогда, когда призрак страха ходил за мной по этим ступеням.

Я развернулся и снова вышел на улицу. Двор был по-прежнему пуст, и я пошел в дальний конец школьной территории по широким гравиевым дорожкам между чопорными новоанглийскими вязами, статью своей напоминавшими банкиров-республиканцев.

Девонскую школу иногда называют самой красивой школой Новой Англии, и даже в столь унылый день она оправдывала это звание. Ее красота складывалась из небольших упорядоченных пространств – просторный двор, деревья, три одинаковых спальных корпуса, кольцо старых зданий, – сосуществующих в общей гармонии. Но было ощущение, что разлад может начаться в любой момент, в сущности, он уже начался: к резиденции декана, безупречно-подлинному колониальному дому, был пристроен флигель с большим голым окном венецианского стекла. Возможно, когда-нибудь декан будет жить в доме, полностью сделанном из стекла, и чувствовать себя счастливым, как кулик. Все в Девоне медленно, постепенно менялось и медленно, постепенно приходило в соответствие с тем, что было раньше. Так что логично было предположить: если здания, деканы и расписание занятий могут, то и я смогу, меняясь, достичь гармонии. А может, сам того не зная, уже смог.

Я наверняка должен был понять это лучше, добравшись до второго места из тех, на которые приехал посмотреть. Поэтому я брел мимо строго пропорциональных краснокирпичных спальных корпусов, обвитых паутиной скинувшего листву плюща, через заброшенный участок города, вклинивавшийся на территорию школы ярдов на сто, мимо массивного спорткомплекса, в этот час заполненного учениками, но снаружи тихого, как монумент, мимо крытого спортивного манежа, который называли Клеткой, – помню, в первые недели своего пребывания в Девоне, наслушавшись загадочных упоминаний о Клетке, я решил, что это место суровых наказаний, – и наконец вышел на обширный участок земли, известный как игровые поля.

Девонская школа славилась как академическими успехами, так и спортивными достижениями своих учеников, поэтому игровые поля были просторными и за исключением этого времени года всегда многолюдными. Сейчас же они расстилались вокруг меня, пропитанные водой и пустые; жалко выглядевшие теннисные корты слева, гигантские поля для футбола, американского футбола и лакросса – в центре, справа – лес, а на дальнем конце, впереди – маленькая речушка, местонахождение которой отсюда можно было распознать лишь по нескольким голым деревьям, растущим

вдоль берега. День был настолько серым и туманным, что противоположный берег, где находился маленький стадион, не просматривался.

Я пустился в длинный трудный путь через игровые поля и, только пройдя уже какой-то отрезок, обратил внимание, что мягкая земляная жижа непоправимо испортила мои городские туфли. Но я не остановился. Посередине поля образовались мелкие озерца грязной воды, которые пришлось обходить, при этом уже совершенно утратившие свой вид туфли мерзко чавкали каждый раз, когда я вытаскивал ногу из болота. На этом открытом месте ничто не защищало мое лицо от резких порывов мокрого ветра; в любое другое время я бы почувствовал себя дураком, хлюпающим по слякоти под дождем только для того, чтобы посмотреть на дерево.

Над речкой висел туман, поэтому, приблизившись к ней, я оказался отгороженным от всего, кроме самой реки и нескольких деревьев на берегу. Здесь ветер дул непрерывно, и я начал замерзать. Шляпы я не носил никогда, а на этот раз забыл и перчатки. Передо мной было несколько деревьев, смутно вырисовывавшихся сквозь мглу. Любое из них могло оказаться тем, которое я искал. Мне казалось невероятным, что здесь росли теперь и другие деревья, выглядевшие так же, как мое. По моим воспоминаниям, оно возвышалось над рекой как гигантский одинокий пик, грозный, словно артиллерийское орудие, и длинный, словно бобовый стебель. Тем не менее, вот она – редкая рощица, ни одно из деревьев в которой особой внушительностью не отличалось.

Шагая по мокрой, задубевшей от холода траве, я начал внимательно осматривать каждое из них и наконец узнал то, которое искал, по маленьким зарубкам на стволе, крупному суку, простершемуся над рекой, и тонкому отростку рядом. Это было то самое дерево, и оно напомнило мне о том, что мужчины, кажущиеся нам в детстве гигантами, много лет спустя оказываются не просто ниже ростом по сравнению с тобой выросшим, но маленькими безотносительно ко всему, съезжившимися от возраста. От такого двойного умаления бывшие гиганты превращаются в карликов.

Дерево было не просто голым, что естественно в это время года, оно словно бы устало от минувших лет, ослабело, высохло. Я был благодарен, очень благодарен за то, что повидался с ним. Чем дольше вещи остаются прежними, тем больше они в итоге меняются – *plus c'est la meme chose, plus ça change*. Ничто не вечно – ни дерево, ни любовь, ни даже память о насильственной смерти.

Внутренне изменившийся, я отправился обратно по грязи. Я промок насквозь, и было совершенно ясно, что пора мне укрыться от дождя в



помещении.

Дерево было огромным, грозным, словно сделанным из черной вороненой стали шпилем, возвышавшимся над берегом реки. Провались я на месте, если подумаю о том, чтобы влезть на него. Да пошло оно к черту. Никому, кроме Финеаса, такая безумная идея и в голову прийти не могла.

Он же, естественно, не видел в этом ничего хоть сколько-нибудь пугающего. А если бы и видел, ни за что не признался бы. Не таков наш Финеас.

– Что мне больше всего нравится в этом дереве, – сказал он тем голосом, который был звуковым аналогом гипнотического взгляда, – так это то, что оно такое пустяковое! – Он выпучил свои зеленые глаза, уставившись на нас характерным маниакальным взглядом, и лишь самодовольная ухмылка, растянувшая его рот и смешно выпятившая верхнюю губу, убеждала в том, что он не окончательно свихнулся.

– Значит, именно это тебе нравится больше всего? – сказал я саркастически. В то лето я многое произносил саркастически, это было мое «саркастическое лето», лето 1942 года.

– Угу-й-ага, – ответил он. Это забавное новоанглийское междометие всегда смешило меня, и Финеас знал это, вот и на сей раз я не удержался от смеха, что снизило градус моего сарказма, а заодно и испуга.

С нами были еще трое – в те дни Финеас всегда ходил в компании числом с хоккейную команду, – и они, стоя рядом, переводили взгляд с него на дерево и обратно, стараясь не выдать своего страха. Вверх по вздымающемуся черному стволу, до солидного сука, нависавшего над берегом, шли грубые деревянные колышки. Взобравшись на этот сук и приложив невероятное усилие, можно было прыгнуть в реку достаточно далеко, чтобы это не представляло опасности для жизни. Так говорили. По крайней мере, компании семнадцатилетних ребят это удавалось, но у них было перед нами решающее преимущество в один год. Никто из средне-старших, как называли в Девонской школе выпускников предпоследнего класса высшей школы, никогда не пробовал это сделать. Естественно, Финеас решил стать первым и, опять же естественно, – подбить нас, остальных, тоже поучаствовать.

Строго говоря, мы даже еще не были средне-старшими, поскольку шел летний семестр, устроенный для того, чтобы, учитывая военное время, мы не отстали от школьной программы. Так что тем летом мы еще пребывали в шатком положении перехода от безропотных салаг к почти бывалым и уважаемым средне-старшим. Те, кто был классом старше нас, мальчики

предпризывного возраста, почти уже солдаты, рвались на войну, опережая нас. Они поступали на ускоренные курсы по программе оказания первой помощи и сколачивали отряды физического закалывания, которое включало в том числе и прыжки с этого дерева. Мы же пока невозмутимо и смиренно читали Вергилия и играли в пятнашки на берегу реки ниже по течению. Пока Финеасу не стукнула в голову мысль об этом дереве.

И вот мы, задрвав головы, глядели на него: трое с ужасом, один – с возбуждением.

– Кто первый? – последовал риторический вопрос Финеаса. Мы ответили лишь молчаливыми взглядами, и тогда он начал раздеваться, в конце концов сняв с себя все, до трусов. Для такого выдающегося спортсмена – даже будучи еще средне-младшим, он считался лучшим спортсменом школы – сложен был Финеас не слишком атлетически. Ростом он был с меня – пять футов восемь с половиной дюймов (до того как мы стали жить с ним в одной комнате, я всем говорил, что мой рост пять футов девять дюймов, но Финеас публично, со свойственной ему непоколебимой уверенностью, заявил: «Нет, мы с тобой одного роста – пять футов восемь с половиной дюймов. Ребята с левого фланга»), а весил на десять фунтов больше – сто пятьдесят фунтов, и вся его фигура, от ног до торса, плечевой пояс, бицепсы и мощная толстая шея представляли собой сплошной монолит силы.

Он начал карабкаться на дерево, цепляясь за колышки, прибитые к стволу. Мускулы его спины работали, как у пантеры. Колышки казались недостаточно прочными, чтобы выдержать его вес. Но наконец Финеас перешагнул на сук, простирившийся ближе к воде.

– Отсюда прыгают? – спросил он. Никто из нас не знал. – Если я это сделаю, вы все должны будете повторить, договорились? – Мы пробормотали нечто нечленораздельное. – Ну, – крикнул он, – это мой вклад в оборону! – И, оттолкнувшись, прыгнул, пролетел через кончики нижних ветвей и плюхнулся в воду.

– Здорово! – крикнул он, наконец вынырнув и качаясь над поверхностью воды; мокрые волосы смешно облепили его лоб. – Это было самое большое удовольствие за прошедшую неделю. Кто следующий?

Следующим был я. При виде дерева меня всего, до кончиков пальцев, в которых ощущалось покалывание, окатило волной страха. В голове образовалась какая-то неестественная пустота, и неясный шелест соседнего леса стал доноситься как будто сквозь заглушающий фильтр. Должно быть, я впал в состояние легкого шока. Отгороженный им от окружения, я снял одежду и начал карабкаться вверх по колышкам. Не помню, чтобы я что-

нибудь говорил. На самом деле сук, с которого прыгнул Финneas, был тоньше, чем казался снизу, и расположен гораздо выше. По нему невозможно было пройти достаточно далеко, чтобы точно оказаться над водой. Поэтому, если ты не хотел упасть на мелководье рядом с берегом, нужно было сильно оттолкнуться и выпрыгнуть далеко вперед.

– Ну, давай! – понукал меня снизу Финни. – Хватит там красоваться.

Автоматически я отметил про себя, что вид отсюда открывался впечатляющий.

– Когда торпедируют транспортное судно, – кричал Финни, – нельзя стоять и любоваться природой. Прыгай!

И что я делаю здесь, на этой верхотуре? Почему позволил Финни уговорить меня совершить эту глупость? Неужели он начинает иметь власть надо мной?

– Прыгай!

С таким ощущением, словно швыряю прочь свою жизнь, я прыгнул в никуда. Кончики нижних ветвей оцарапали меня на лету, потом я рухнул в воду. Мои ноги коснулись мягкого ила на дне, и уже в следующий момент я, вынырнув на поверхность, услышал поздравления. Чувствовал я себя отлично.

– Думаю, ты прыгнул лучше, чем Финни, – сказал Элвин Лепеллье, известный под кличкой Чумной, с таким видом, словно вызывал на спор каждого.

– Не спеши, парень, – ответил ему Финни своим сердечным проникновенным голосом, который он извлекал из своей груди, как из звучного духового инструмента. – Не начинай раздавать награды, пока дистанция не пройдена до конца. Дерево ждет.

Чумной решительно, словно навсегда, закрыл рот. Он не стал ни спорить, ни отказываться. Не отступил. Он просто сделался как неживой. Зато двое других, Чет Дагласс и Бобби Зейн, пустили в ход все свое красноречие: они громко сетовали на школьные правила, на опасность схлопотать желудочную колику или такое увечье, о каком прежде никто и не слыхивал.

– Значит, только ты, приятель, – наконец сказал Финни, обращаясь ко мне. – Только ты и я.

Мы с ним пустились в обратный путь через игровые поля в почтительном сопровождении остальных – вроде двух сюзеренов<sup>[1]</sup>.

В тот момент мы были с Финneasом лучшими друзьями.

– Классно ты прыгнул, – добродушно сказал Финни и добавил: – после того как я тебя пристыдил и заставил.

– Никого ты не пристыдил и не заставил.

– Нет, заставил. Я тебе нужен в таких ситуациях. Иначе ты вечно норовишь увильнуть.

– Я никогда в жизни ни от чего не увильнул! – крикнул я с тем бóльшим негодованием, что это было правдой. – Ты чокнутый!

Финеас, в своих белых кедах, безмятежно шел, или, скорее, даже парил, катился вперед с такой неосознанной плавностью движения, что слово «шел» здесь не подходило.

Я шагал рядом с ним через огромные игровые поля к спорткомплексу. Пышный зеленый дерн под ногами был тронут росой, а впереди виднелась легкая зеленая дымка, висевшая над травой и пронизанная насквозь солнечным мерцанием. Финеас внезапно замолчал, и в тишине стали слышны стрекот кузнечиков, предзакатное пение птиц, артиллерийская канонада школьного грузовика, едущего по пустой беговой дорожке в четверти мили от них, взрыв смеха от задней двери спорткомплекса, а затем, поверх всех этих звуков, равнодушный матриархальный звон колокола из-под купола Первого корпуса, оповещающий о времени: шесть часов – самый равнодушный, самый всепроникающий колокол в мире, благовоспитанный, невозмутимый, непобедимый и окончательный.

Колокольный звон плыл над роскошными кронами вязов, над широкими покатыми крышами и грозными дымоходами спальных корпусов, над узкими и острыми верхушками старых домов, под просторным нью-гемпширским небом – прямо к нам, возвращавшимся с реки.

– Надо поторопиться, чтобы не опоздать на ужин, – сказал я, переходя на то, что Финни называл моим «вест-пойнтским шагом». Не то чтобы Финеас как-то особо не любил Вест-Пойнт или власти в целом, он просто считал любую власть неизбежным злом, противодействие которому доставляет огромное удовольствие, а себя – своего рода баскетбольным щитом, возвращающим все оскорбления, которые она ему наносила. Мой «вест-пойнтский шаг» он терпеть не мог; его правая ступня мелькнула в воздухе, и я на полном ходу нырнул носом в траву.

– А ну, свали с меня свои сто пятьдесят фунтов! – заорал я, потому что он сидел у меня на спине. Финни встал, добродушно похлопал меня по затылку и двинулся дальше через поле, не соизволив даже обернуться, чтобы не пропустить мою контратаку, а полагаясь лишь на свой сверхчувствительный слух и способность, не глядя, чують приближение сзади. Когда я бросился на него, он легко сделал шаг в сторону, но, пролетая мимо, я все же успел лягнуть его ногой. Он поймал меня за эту

самую ногу, и между нами состоялась короткая борцовская схватка на дерне, которую он выиграл.

– Ты бы лучше поторопился, – сказал он, – а то тебя посадят на гауптвахту.

Мы снова двинулись вперед, теперь быстрее; Бобби, Чумной и Чет, уйдя вперед, махали нам – мол, ради бога, поскорей; так Финеас снова поймал меня в свою самую надежную ловушку: я вдруг оказался соглашателем. Пока мы быстро шагали рядом, я внезапно почувствовал отвращение к колоколу, к собственному «вест-пойнтскому шагу», к этой поспешности и к своему соглашательству. Финни был прав. И существовал лишь один способ показать ему это. Я толкнул его бедром, застав врасплох, и он вмиг очутился на земле, явно довольный. Поэтому-то он меня так и любил. Когда я прыгнул на него, упершись ему в грудь коленями, ему больше ничего и не надо было. Мы более-менее на равных боролись некоторое время, а потом, когда он уже был уверен, что на ужин мы опоздали, оторвались друг от друга.

Пройдя мимо спорткомплекса, мы направились к первой группе спальных корпусов, темных и молчаливых. В летнее время в школе нас оставалось всего сотни две, недостаточно, чтобы заполнить большую часть помещений. Миновав распластаный пустующий директорский дом – директор где-то выполнял какое-то задание по поручению Вашингтонского правительства, – часовню, тоже пустующую, поскольку она использовалась лишь по утрам, и то очень недолго, Первый учебный корпус, в котором тусклый свет был виден лишь в нескольких из его многочисленных окон, там, где преподаватели продолжали работать в своих классных комнатах, мы спустились по короткому склону на широкий, идеально подстриженный газон Дальнего выгона, свет на него падал лишь от окружавших его георгианских зданий. С десятков мальчиков, поужинав, слонялись по траве и болтали под аккомпанемент звона посуды, доносившегося из кухни, которая располагалась в крыле одного из зданий. По мере того как постепенно темнело небо, в спальных корпусах и старых домах загорались огни; где-то далеко громко играл патефон: не доиграв до конца «Не сиди под яблоней», он сменил пластинку на «Либо слишком молоды, либо слишком стары», потом проявил более изысканный вкус – зазвучал «Варшавский концерт»<sup>[2]</sup>, потом сюита из балета «Щелкунчик», а потом патефон замолчал.

Мы с Финни отправились в свою комнату и принялись в желтом свете настольных ламп выполнять домашнее задание по Гарди: я уже наполовину прочел «Тэсс из рода д'Эрбервиллей», он продолжал неравную борьбу с

романом «Вдали от обезумевшей толпы», поражаясь тому, что могут существовать люди, которых зовут Габриэль Оук и Батшеба Эвердин. Наше незаконное радио, работавшее так тихо, что ничего невозможно было разобрать, передавало новости. Снаружи был слышен шелест раннелетнего ветерка; старшие, которым позволялось возвращаться позже, чем нам, очень тихо прошмыгивали в дом под десять величественных ударов колокола. Мальчики пробежали мимо нашей двери, направляясь в ванную, и в течение некоторого времени было слышно, как из душа непрерывно лилась вода. Потом по всей школе начали быстро гаснуть огни. Мы разделись, я натянул какую-то пижаму, а Финни, где-то слышавший, что это «не по-военному», пижаму надевать не стал. На какое-то время установилась тишина, что означало: мы читаем молитву. И на этом тот летний школьный день закончился.

## Глава 2

Наше отсутствие на ужине не осталось незамеченным. На следующее утро – чисто вымытое, сияющее летнее северное утро – мистер Прадомм остановился возле нашей двери. Он был широкоплеч, угрюм и всегда носил серый деловой костюм. Мистер Прадомм отнюдь не отличался тем небрежным, «британским» видом, какой имели почти все преподаватели Девонской школы, потому что был приглашен на время, только на лето. Он следил за соблюдением школьных правил, которые твердо усвоил; отсутствие на ужине было нарушением одного из них.

Финни объяснил, что мы плавали в реке, потом у нас был борцовский поединок, потом начался такой закат, каким невозможно было не залюбоваться, потом нужно было повидаться по делу с несколькими друзьями... Он говорил и говорил, его голос плыл по воздуху, извлекаемый из глубокого резонатора его груди, глаза время от времени расширялись, посылая зеленые вспышки через всю комнату. Стоя в тени, на фоне ярко освещенного окна за спиной, он, загорелый, сиял здоровьем. Глядя на него и слушая его бессвязно-красноречивые объяснения, мистер Прадомм быстро ослаблял свою суровую хватку.

– Если вы не пропустили девять приемов пищи за последние две недели... – вклинился было он.

Но Финни не желал упускать своего преимущества. Не потому, что добивался прощения за пропущенный ужин – это его как раз ничуть не интересовало, он бы, скорее, порадовался наказанию, если бы оно было назначено в какой-нибудь новой, ранее неведомой форме. Он продолжал эксплуатировать свое преимущество потому, что видел: мистеру Прадомму это нравится, пусть и против его собственной воли. Наставник с каждой минутой все больше утрачивал свою официальную позу, и не исключено, что при достаточной настойчивости со стороны Финеаса между ними вот-вот установилось бы безотчетное дружеское расположение, а это являлось одним из тех состояний души, ради которых Финни, собственно, и жил.

– Но настоящая причина, сэр, заключается в том, что нам нужно было спрыгнуть с дерева. Вы знаете это дерево... – И мне, и наверняка мистеру Прадомму, и Финни, если бы он на секунду остановился и подумал, было прекрасно известно, что прыгать с дерева было запрещено еще строже, чем пропускать еду. – Мы, естественно, должны были это сделать, – продолжал, тем не менее, Финни, – потому что мы все готовимся идти на войну. Что,

если призывной возраст снизят до семнадцати лет? И Джину, и мне в конце лета исполнится семнадцать, что очень удобно, поскольку к тому времени начнется новый учебный год, и ни у кого нет сомнений относительно того, кто в какой класс пойдет. Чумному Лепеллье уже семнадцать; если не ошибаюсь, он будет подлежать призыву еще до окончания следующего учебного года и станет уже «старшим», – понимаете? – и после выпускного класса будет подлежать призыву. Но с нами, с Джином и со мной, все в порядке, в абсолютном порядке. И речи быть не может о том, чтобы мы не подчинялись безоговорочно и полностью всему, что происходит и что предстоит. Все зависит исключительно от дня рождения, если не углубляться в проблему и не рассматривать ее с сексуальной точки зрения, о чем я сам никогда и не помышлял, потому что это дело моей мамы и моего отца, и у меня никогда даже желания не возникало особо задумываться об их интимной жизни...

Все, что говорил Финни, было хоть и чудовищно сумбурным, но правдивым и искренним, и он очень удивлялся, если его речи ошарашивали собеседника.

Мистер Прадомм выдохнул, издав при этом легкий удивленный смешок, какое-то время смотрел на Финни, и все – вопрос оказался закрыт.

Тем летом наставники были склонны обращаться с нами именно так. Казалось, что их обычное состояние хронического неодобрения меняется. Зимой большинство из них воспринимало любое необычное поведение ученика с подозрительностью, все, что мы говорили и делали, казалось им потенциально незаконным. Теперь, в эти нью-гемпширские ясные июньские дни, они, похоже, расслабились, видя, что половину времени мы проводим у них на глазах и лишь половину используем для того, чтобы их дурачить. Склонность к терпимости ощущалась совершенно явно; Финни решил, что они начинают обнаруживать похвальные признаки зрелости.

Отчасти это было его заслугой. Преподавательский состав Девонской школы никогда прежде не сталкивался с учеником, в котором сочетались бы невозмутимое игнорирование правил с обаятельным стремлением слыть хорошим, с учеником, который, казалось бы, искренне и глубоко любит школу, но особенно тогда, когда нарушает ее распорядок, с образцовым мальчиком, который чувствует себя уютней всего в углу для прогульщиков. Не сумев справиться с Финеасом, учителя сдались, а заодно ослабили хватку и на всех нас.

Но существовала и другая причина. Думаю, мы, шестнадцатилетние мальчики, напоминали им о мирных временах. Нас ставили на военный учет без призывной комиссии и медицинского освидетельствования. Никто



никогда не проверял нас на дальтонизм и на грыжу. Травмы коленей и прокол барабанных перепонки были жалобами, не достойными внимания, и не являлись изъятиями, отделявшими меньшинство от участия остальных. Мы были беспечны, необузданны и, полагаю, являли собой свидетельство той жизни, которую всем так хотелось сохранить, несмотря на войну. Так или иначе, учителя были теперь более снисходительны по отношению к нам, чем когда-либо прежде; все свое внимание они обратили на старших, направляя, формируя и вооружая их для войны. За нашими играми они наблюдали спокойно. Мы напоминали им о том, что такое мир, о молодых жизнях, не обреченных на гибель.

Финеас был сутью этого беспечного мира. Хотя нельзя было сказать, что его совершенно не интересовала война. После ухода мистера Прадомма он начал одеваться, при этом он просто хватал вещи, до которых мог дотянуться, – некоторые из них были моими. Потом он постоял, задумавшись, и подошел к комоду. Достал из ящика и хорошо скроенную рубашку из плотной тонкой ткани, ярко-розовую.

– Это еще что такое? – спросил я.

– Это скатерть, – произнес он уголком рта.

– Перестань. Что это?

– Это, – с оттенком гордости ответил он, – будет моей эмблемой. Мама прислала мне ее на прошлой неделе. Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное и такого же цвета? Она даже без застёжки внизу. Ее нужно надевать через голову, вот так.

– Через голову? Розовая? Ты в ней выглядишь как гомик!

– Правда? – переспросил он тем тоном, каким говорил всегда, когда думал о чем-то более интересном, нежели то, что сказал ты. Однако его ум всегда фиксировал услышанное, и в соответствующий момент он это вспоминал; вот и сейчас, застегивая пуговицы на воротнике рубашки, он спокойно произнес:

– Интересно, что будет, если все примут меня за гомика?

– У тебя точно не все дома.

– Ну что ж, если поклонники начнут барабанить в дверь, можешь сказать им, что я ношу это как эмблему. – Он повернулся ко мне, чтобы дать возможность полюбоваться. – Я на днях прочел в газете, что мы впервые бомбили Центральную Европу. – Только тот, кто знал Финеаса так же хорошо, как я, мог понять, что он вовсе не сменил тему. И я молча ждал, какую фантастическую связь он установит между этой информацией и своей рубашкой. – Так вот, мы должны что-то сделать, чтобы отпраздновать это событие. Флага у нас нет, и мы не можем гордо вывесить из окна

Доблесть Прошлого<sup>[3]</sup>. Поэтому я намерен носить это как эмблему.

И он носил. Никто другой во всей школе не мог бы позволить себе такого, не рискуя, что рубашку сорвут, дернув со спины. Когда самый суровый из наставников летнего семестра, старый мистер Пэтч-Уизерс, подошел к нему после урока истории и поинтересовался, что значит эта рубашка, я своими глазами увидел, как его испещренное морщинами, но румяное лицо становилось еще более розовым от удовольствия по мере того, как Финни объяснял ему символическое ее значение.

Это был своего рода гипноз. Я начинал верить, что Финеас способен выпутаться из любой передраги, оставшись безнаказанным, и не мог немного не завидовать ему, что было совершенно нормально. В том, чтобы немного завидовать даже лучшему другу, нет ничего плохого.

В середине дня мистер Пэтч-Уизерс, который временно, на летний семестр, замещал директора, предложил устроить традиционное чаепитие для нашего класса. Оно состоялось в пустующем директорском доме, и жена мистера Пэтч-Уизерса вздрагивала каждый раз, когда чья-нибудь чашка стучалась о блюдце. Мы сидели на застекленной веранде, которая одновременно была чем-то вроде зимнего сада, – просторной, сырой и не сильно загроможденной растениями. А те, которые там все же росли, представляли собой огромные стебли с крупными листьями без цветов, словно доисторические. Шоколадно-коричневая плетеная мебель издавала угрожающий хруст, и мы, три с половиной десятка учеников, неловко перемешивая чай в чашках, стояли посреди этих плетей с листьями и отчаянно старались, поддерживая разговор, не выглядеть в присутствии четырех наставников и их жен такими же пустомелями, какими нам казались они.

По такому случаю Финеас смазал волосы специальной жидкостью и причесал. От этого они лоснились и резко контрастировали с простодушно-удивленным выражением, которое он придал своему лицу. Уши у него – я никогда прежде не замечал этого – были очень маленькими и плотно прижатыми к голове, а крупный нос и широкие скулы в сочетании с набриолиненными волосами делали его лицо похожим на нос корабля.

Он один держался совершенно раскованно и завел речь о бомбардировках Центральной Европы. Никто из нас об этом ничего не слышал, а поскольку Финеас не мог точно вспомнить, какая именно цель и в какой стране подверглась воздушной атаке, были это американские, британские или русские самолеты и даже в какой день он прочел в газете эту новость, то «дискуссия» носила сугубо односторонний характер.

Но это не имело никакого значения. Важно было событие само по себе.

Однако в какой-то момент Финни почувствовал, что надо дать слово и другим.

– Я думаю, мы должны вышибить из них дух своими бомбардировками, но не должны подвергать опасности женщин, детей и стариков. Вы согласны? – Он обращался к миссис Пэтч-Уизерс, нервно ерзавшей около своего электрического самовара. – А также больницы, – продолжил он, – и, естественно, школы. И церкви.

– Надо также быть осторожными в отношении произведений искусства, – вставила она, – если они представляют собой непреходящую ценность.

– Чушь! – проворчал мистер Пэтч-Уизерс, побагровев лицом. – Как можно требовать от наших парней такой точности, когда они летят на высоте нескольких тысяч футов с тоннами бомб на борту! Посмотрите, что сделали немцы с Амстердамом! Посмотрите, что они сделали с Ковентри!

– Но немцы – не центральноевропейцы, дорогой, – очень мягко возразила его жена.

Мистер Пэтч-Уизерс не любил, когда его перебивали, но, похоже, от жены мог это стерпеть. Выразительно помолчав, он произнес угрюмо:

– В любом случае в Центральной Европе нет искусства, представляющего собой «непреходящую ценность».

Финни наслаждался. Он даже расстегнул свой легкий полосатый пиджак, словно для продолжения дискуссии телу требовалась бóльшая свобода. Взгляд миссис Пэтч-Уизерс при этом упал на его ремень, и она робким голосом спросила:

– Это не... наш...

Ее муж взглянул в том же направлении; я запаниковал. В утренней спешке Финни в качестве ремня нередко использовал галстук. Но сегодня под руку ему попался форменный галстук Девонской школы.

Уж это-то не должно было сойти ему с рук. Я почувствовал, как во мне неожиданно стало подниматься волнение. Складки на лице мистера Пэтч-Уизерса приобрели твердость алмазных граней, а его жена уронила голову на грудь, словно перед гильотиной. Даже сам Финни, кажется, чуточку покраснел, если только это не было отражением розового цвета его рубашки. Но лицо сохранило спокойное выражение, и он сказал своим зычным голосом:

– Видите ли, я надел его, потому что он сочетается с рубашкой и связывает все воедино – конечно же, я не подразумевал никаких шуток, это было бы не смешно, тем более в таком изысканном обществе, – просто это объединяет нас с тем, о чем мы здесь говорим – с бомбардировками

Центральной Европы, потому что, если посмотреть в корень, школа неотделима от всего, что происходит на войне, война повсюду, и мир един, и я думаю, что Девонская школа должна быть его частью. Не знаю, разделяете ли вы мое мнение.

Пока Финеас произносил речь, цвет лица мистера Пэтч-Уизерса постоянно менялся вместе с его выражением, и в конце концов на нем отразилось крайнее изумление.

– Никогда в жизни не слышал ничего столь противоречащего логике! – Однако произнес он это без особого возмущения. – Это, наверное, самый странный вклад, внесенный школой за сто шестьдесят лет своего существования. – Где-то в дальнем неведомом уголке сознания он невольно испытывал удовольствие или радостное удивление. Похоже, даже эта выходка не повлекла для Финеаса никаких последствий.

Его глаза расширились, засверкав магическим блеском, и голос приобрел еще большую убедительность.

– Хотя, должен признаться, утром, одеваясь, я не думал об этом. – Выдавая дополнительную информацию, он мило улыбнулся. Мистер Пэтч-Уизерс хранил дружелюбное молчание, и Финни продолжил: – Я рад, что подпоясался хоть *чем-то*. Мне было бы страшно неловко, если бы с меня на чаепитии в директорском доме упали штаны. Конечно, директора здесь нет, но мне было бы так же неловко, если бы это случилось в вашем присутствии и присутствии миссис Пэтч-Уизерс. – И он одарил даму вежливой улыбкой.

Смех мистера Пэтч-Уизерса поразил всех, включая его самого. Мы знали все его гримасы и часто давали им шуточные названия, но сейчас на его лице отразилось нечто новое. Финеас был совершенно счастлив: вечно кислый и суровый мистер Пэтч-Уизерс внезапно разразился смехом, и заставил его это сделать он! Финни расплылся в обезоруживающе беспечной улыбке совершенно довольного человека.

Он снова вышел сухим из воды. Я неожиданно почувствовал укол разочарования: наверное, мне хотелось увидеть нечто более драматическое, но на этом, похоже, все закончилось.

Оба в превосходном настроении, мы покинули вечеринку. Я хохотал вместе с Финни, моим лучшим и единственным другом, который был способен выпутаться из любой неприятности. И не потому, что был такой уж хитрец – в этом я был уверен. Ему все сходило с рук благодаря необычному складу личности. В сущности, мне делало честь то, что такой человек выбрал в лучшие друзья меня.

Он никогда ничем не удовлетворялся до конца, даже если сделанного

было достаточно, даже если все было идеально.

– Пойдем прыгнем в реку, – с придыханием сказал он, когда мы вышли из зимнего сада, и, чтобы не дать мне возможности увильнуть, привалился ко мне и подтолкнул в нужном направлении; словно полицейская машина, прижимающая автомобиль нарушителя к обочине, он направлял меня в сторону реки. – Нам нужно прочистить мозги после этого чаепития, – сказал он. – Ох уж эти мне разговоры!

– Да. Это было утомительно. Только вот кто говорил больше всех?

Финни сосредоточился.

– Мистер Пэтч-Уизерс был довольно болтлив, и его жена, и...

– Ну, ну, и?..

Он посмотрел на меня с притворным изумлением.

– Не хочешь ли ты сказать, что я слишком много разговаривал?!

Отвечая ему таким же притворным изумлением, я сказал:

– Ты?! Слишком много разговаривал?! Как ты можешь обвинять меня в том, что будто бы я обвиняю тебя в этом?!

Как я уже говорил, то было мое саркастическое лето. Только спустя много лет я понял, что сарказм зачастую бывает протестной реакцией людей слабых.

Мы шли к реке под клонившимся к закату солнцем.

– На самом деле я не верю, что наши бомбили Центральную Европу, а ты? – задумчиво сказал Финни. Спальные корпуса, мимо которых мы проходили, были массивными и почти неотличимыми друг от друга под густыми покровами плюща, чьи крупные, старые на вид листья, казалось, оставались на месте всегда, зимой и летом, – вечные висячие сады Нью-Гемпшира. Вязы высоко врезались в просветы между домами; ты забывал, насколько они высоки, пока, задрвав голову, не проскальзывал взглядом по знакомым стволам к нижним листовым зонтам и дальше, к пышной зелени над ними: крупные ветви, более мелкие ответвления – целый мир ветвей с бескрайним морем листвы. Они тоже казались вечными, никогда не меняющимися – неприкасаемый и недосягаемый мир в вышине, похожий на декоративные башни и шпили гигантской церкви. Слишком высокие, чтобы любоваться ими, слишком высокие вообще для чего бы то ни было, величественные, далекие и совершенно бесполезные.

– Я тоже в это не верю, – был мой ответ.

Далеко впереди четверо мальчишек, казавшихся белыми флажками на бескрайних просторах игровых полей, бежали по направлению к теннисным кортам. Справа от них застыли, будто в задумчивости, серые стены спорткомплекса; высокие и широкие окна с овальными арками

вверху отражали солнечный свет. Позади спорткомплекса, на дальнем конце полей, начиналась роща, наша девонско-школьная роща, которая в моем воображении переходила в великие северные леса. Мне представлялось, что они монолитным расширяющимся коридором простираются так далеко на север, что никто никогда не видел другого их края, находившегося где-то на разбросанной канадской границе. Казалось, что мы ведем свои игры на укромной окраине последнего и величайшего массива дикой природы. Мне так и не довелось выяснить, правда ли это. Вероятно, так и было.

Бомбы над Центральной Европой здесь, для нас, были нереальными, не потому что мы не могли себе их представить – тысячи газетных фотографий и кадров хроники давали нам довольно точное представление о картинах бомбардировок, – а потому, что место, где мы пребывали, было слишком благополучным, чтобы поверить в существование чего-то подобного. Рад сообщить, что лето мы провели абсолютно эгоистично, если можно так выразиться. Летом 1942 года во всем мире было очень мало людей, которые могли это себе позволить – за исключением нашей небольшой компании, – и я рад, что мы воспользовались этим преимуществом.

– Первый, кто скажет что-нибудь неприятное, получает пинок под зад, – задумчиво произнес Финни, когда мы подошли к реке.

– Ладно.

– Ты по-прежнему боишься прыгать с этого дерева?

– В этом вопросе уже есть нечто неприятное, ты не думаешь?

– В этом вопросе? Конечно, нет. Все зависит от того, что ты ответишь.

– Я боюсь прыгнуть с этого дерева? Наоборот, я думаю, что это будет величайшим удовольствием.

После того как мы немного поплавали в реке, Финни сказал:

– Можешь оказать мне любезность и прыгнуть первым?

– С радостью.

Одеревеневший, я начал взбираться по колышкам, чуточку ободренный тем, что Финни карабкался следом за мной.

– Мы прыгнем вместе, чтобы скрепить наше товарищество, – сказал он. – Мы организуем Союз самоубийц, а вступительным взносом будет один прыжок с этого дерева.

– Союз самоубийц, – сдавленно повторил я. – Союз самоубийц летнего семестра.

– Отлично! Суперсоюз самоубийц летнего семестра. Как тебе?

– Замечательно. Пойдет.

Мы оба стояли на суку: я немного впереди, чуть ближе к реке, чем Финни. Повернувшись, чтобы сказать что-то еще, желая отсрочить прыжок хоть на несколько секунд, я пошатнулся и стал терять равновесие. Меня на миг охватила безотчетная всепоглощающая паника, но в этот момент Финни резко выбросил вперед руку и схватил меня за плечо; я восстановил равновесие, и паника тут же прекратилась. Снова повернувшись лицом к реке, я продвинулся еще на несколько шажков, оттолкнулся, выпрыгнул вперед и нырнул в глубокую воду. Финни тоже отлично спрыгнул, и Суперсоюз самоубийц летнего семестра был официально учрежден.

Только после обеда, когда шел в библиотеку, я в полной мере осознал грозившую мне опасность. Если бы Финни не поднимался следом за мной... если бы его там не оказалось... я мог упасть на землю и сломать спину! А если бы упал как-нибудь особенно неловко, мог и погибнуть. Финни фактически спас мне жизнь.

## Глава 3

Да, он фактически спас мне жизнь. Но он же фактически и подверг ее риску. Если бы не он, я бы не оказался на этом суку, не обернулся бы, стоя на нем, и не потерял бы равновесия. Так что у меня нет причины быть настолько благодарным Финеасу.

Суперсоюз самоубийц летнего семестра имел успех с самого начала. В тот же вечер Финни уже говорил о нем как о некоей почтенной, устоявшейся организации Девонской школы. С полдюжины друзей, собравшихся в нашей комнате, задавали кое-какие уточняющие вопросы, словно не было ни одного человека, который никогда не слышал о подобном клубе. Ни для кого не секрет, что школы изобилуют тайными обществами и подпольными братствами, и все восприняли Союз самоубийц как одно из них, о котором только сейчас стало известно. Без колебаний все записались в «абитуриенты».

Мы начали встречаться каждый вечер, чтобы посвящать новичков в члены союза. Привилегированные участники, он и я, открывали каждый сход, лично совершая прыжки. Это было первое правило, которое априори в то лето установил Финни. Мне оно было ненавистно. Я так и не привык к этим прыжкам. С каждым разом сук казался мне все более тонким, расположенным все выше, и все труднее было допрыгнуть до глубоководья. И каждый раз, перед тем как прыгнуть, меня охватывало изумление: неужели я и впрямь собираюсь совершить поступок, чреватый гибелью? Но я всегда прыгал. Иначе я потерял бы лицо в глазах Финеаса, а об этом страшно было даже подумать.

Итак, мы встречались каждый вечер. Хоть Финни и жил, руководствуясь вдохновением и анархией, он высоко ценил правила. Свои собственные, не те, которые навязывали ему другие, например, преподавательский состав Девонской школы. Суперсоюз самоубийц летнего семестра был клубом; члены клубов, по определению, видятся регулярно; вот мы и встречались каждый вечер. Постоянней этого ничего быть не могло. Еженедельные сходки Финни считал нерегулярными, почти случайными, граничащими с легкомыслием.

Я соглашался с ним и никогда не пропускал ни единой встречи. В то время мне и в голову не приходило сказать: «Сегодня мне не хочется», хотя на самом деле не хотелось всегда. Я был жертвой диктата собственного рассудка, который даровал мне свободу маневра не более чем смиренная



рубашка. Стоило Финни сказать: «Ну, пошли, приятель!», и, действуя вопреки всем инстинктам моего существа, я шел, даже не помышляя возразить.

По мере того как продолжалось лето с этим ежедневным неотвратимым мероприятием – ради которого можно было пропустить урок, не явиться на обед и даже на службу в часовню – я стал замечать кое-что особенное в складе ума Финни, казалось бы, полностью противоположном моему собственному. На самом деле Финни не был совсем уж безрассудный. Я заметил, что он неукоснительно следовал некоторым правилам, которые выражал в форме заповедей. «Никогда не говори, что в тебе пять футов девять дюймов<sup>[4]</sup> росту, если на самом деле в тебе – пять футов восемь с половиной дюймов» – это была первая из них, с которой я столкнулся. Еще одной заповедью было: «Всегда читай молитву на ночь, поскольку может оказаться, что Бог есть».

Но заповедь, которая оказывала самое существенное влияние на его жизнь, звучала так: «В спорте ты всегда побеждаешь». Это «побеждаешь» было коллективным. В спорте побеждает каждый и всегда. Если ты принял участие в спортивной игре, ты уже победил – это все равно что, сев за стол, съесть свою еду. Для Финни это было аксиомой. Он никогда не позволял себе думать о том, что, когда мы побеждаем, они проигрывают. Это разрушило бы идеальную красоту, которую воплощал для него спорт. В спорте никогда не случалось ничего плохого, он был абсолютным благом.

Спортивная программа того лета его возмутила – немного тенниса, немного плавания, беспорядочные футбольные матчи, бадминтон. «Бадминтон!» – презрительно воскликнул он в тот день, когда эта дисциплина появилась в расписании. Он ничего не добавил, но гневная, презрительная, отчаянная интонация его голоса сказала за него: «Бадминтон!»

– По крайней мере, нам лучше, чем старшим, – заметил я, вручая ему хлипкую ракетку и воздушный воланчик. – У них в расписании – ритмическая гимнастика.

– Чего от нас добиваются? – Финни с силой запустил волан через всю раздевалку. – Хотят сломать нас? – Сквозь гнев, однако, слышалась ироническая нотка, и это означало, что он придумывает, как соскочить.

Мы вышли на воздух, под радушное послеполуденное солнце. Игровые поля расстилались перед нами, оптимистично зеленые и пустые. На теннисных кортах народу было полно. Как и на площадке для софтбола. Бадминтонные сетки сладострастно раскачивались на ветру. Финни посмотрел на них с тихим удивлением. На дальнем конце поля, ближе к

реке, стояла деревянная вышка высотой футов в десять, с которой тренер обычно руководил занятиями по ритмической гимнастике. Сейчас она пустовала. Старшая группа отправилась либо на импровизированный кросс по лесу, либо восстанавливать свое кровяное давление, либо выполнять хитроумное упражнение в Клетке, состоявшее в том, чтобы в течение пяти минут в быстром темпе ступать одной ногой на возвышение, подтягивать другую, потом таким же образом спускаться. Словом, они удалились куда-то готовиться к войне. Все поле было в нашем распоряжении.

Финни медленно пошел по направлению к вышке. Может, он надумал, чтобы мы отнесли ее к реке и сбросили в воду, а может, просто хотел рассмотреть поближе, ему всегда было интересно все рассматривать вблизи. Но что бы Финни ни задумал, он обо всем забыл, подойдя к вышке. Кто-то оставил рядом с ней большой тяжелый набивной кожаный мяч для лечебной физкультуры.

Он поднял его.

– Вот, – сказал Финни, – видишь? Это все, что нужно для спорта. Как только было изобретено колесо, возник и спорт. Что касается этого... – Он обхватил медицинский мяч левой рукой, а в правой поднял и протянул вперед грязный волан. – Это перышко – идиотизм; единственное, для чего оно годится, – это для эни-мини-майни-мо<sup>[5]</sup>. – Он выпустил мяч и начал с отвращением выдергивать перышки из волана, словно выбирал клещей из собачьей шерсти. Когда в руке у него осталась только резиновая головка с единственным торчащим пером, он изо всех сил зашвырнул ее куда-то далеко вперед. С бадминтоном было покончено.

Он снова поднял медицинский мяч и с удовольствием взвесил его в руке.

– Вообще ничего, кроме круглого мяча, не требуется.

Хоть он редко это сознавал, за Финеасом постоянно наблюдали – как за погодой. В дальнем конце площадки игравшие в бадминтон почувствовали изменение направления ветра, до нас донесся их клич. Поскольку мы не отозвались и не пошли к ним, они начали постепенно приближаться сами.

– Думаю, сейчас самое время начать новые упражнения, согласен? – сказал мне Финни, склонив голову набок. Потом он медленно обвел подошедших товарищей взглядом, исполненным какой-то полусознанной решимости, целью которого было увлечь людей своей последней идеей. Дважды моргнув, он добавил: – Можно начать с этого мяча.

– Давайте сделаем так, чтобы это имело какое-то отношение к войне, – предложил Бобби Зейн. – Ну что-то вроде блицкрига или вроде того.

– Блицкриг, – с сомнением повторил Финни.

– Можно придумать что-нибудь наподобие бейсбольного блицкрига, – сказал я.

– Мы назовем это блицкригбол, – подхватил Бобби.

– Или короче – блицбол, – поразмыслил вслух Финни. – Да, блицбол. – Потом, бросив выжидательный взгляд на окружающих, воскликнул: – Ну, начнем? – и без предупреждения бросил мне тяжелый мяч.

Я поймал его обеими руками и прижал к груди.

– Беги! – приказал Финни. – Нет, нет, вон туда! К реке! Беги!

Я помчался к реке, окруженный толпой нерешительных товарищей; они догадывались, что, по всей вероятности, являются моими противниками по блицболу.

– Не жадничай! – вопил Финни. – Отдай другому! Иначе, – он ритмично выкрикивал слова на бегу, – мы окружим тебя и кто-нибудь собьет тебя с ног.

– Попробуйте! – Я увильнул от него, продолжая прижимать к себе мяч. – Что это за игра?

– Блицбол! – закричал Чет Дагласс, хватая меня за ноги и валя на землю.

– Это совершенно не по правилам, – сказал Финни. – Руками действовать нельзя, когда сбиваешь того, кто владеет мячом.

– Нельзя? – пробормотал Чет, сидя на мне верхом.

– Нельзя. Руки надо держать скрещенными на груди, вот так, а того, у кого мяч, просто подсекать. Плечами тоже нельзя работать. Ладно, Джин, начинай сначала.

– Может, теперь кто-нибудь другой возьмет мяч? – быстро предложил я.

– Нет, после того как тебя против правил сбивают с ног, мяч остается у тебя. Все в порядке, продолжай. Вперед!

Мне не оставалось ничего иного, кроме как снова пуститься наутек, между тем как остальные с новым энтузиазмом затопали вокруг меня.

– Бросай его! – приказал Финнеас. Бобби Зейн был более-менее открыт, и я бросил мяч ему; тот был таким тяжелым, что Бобби принял мою передачу только у самой земли. – Прекрасно, молодцы, – прокомментировал Финни, продолжая мчаться вперед на предельной скорости. – Когда передаешь мяч партнеру, он и должен коснуться земли. – Бобби, ища защиты, попятился ко мне. – Вали его! – заорал мне Финни.

– Валишь?! Ты что, спятил? Он же из моей команды!

– В блицболе нет никаких команд, – с явным раздражением крикнул он, – здесь все – противники. Вали его!

Я свалил.

– Отлично, – сказал Финни, распутывая нас. – Теперь мяч снова переходит к тебе. – Он передал мне свинцовый снаряд.

– Я считал, что мяч переходит...

– Нет, ты, естественно, снова завладел мячом, когда свалил противника. Беги.

Я снова помчался. Чумной Лепеллье бежал размашистым шагом вне пределов моей досягаемости, не следя за игрой, бессмысленно следуя за мной по пятам, как дельфин за проходящим кораблем.

– Чумной, лови! – Я бросил ему мяч поверх нескольких голов.

Пойманный врасплох, Чумной сокрушенно задрал голову, отшатнулся, присел, чтобы мяч не попал в него, и, как это часто с ним случалось, выпалил первое, что пришло ему в голову:

– Он мне не нужен!

– Стоп, стоп! – закричал Финни голосом рефери. Все замерли, Финни поднял мяч и, держа его в руках, продолжил: – Сейчас Чумной продемонстрировал нам одно очень важное правило игры. Принимающий может по собственному желанию отказаться принять пас. Поскольку все мы соперники, мы можем и будем все время играть друг против друга. Это правило назовем правилом отказа, или правилом Лепеллье. – Мы все молча кивнули. – Итак, Джин, мяч по-прежнему твой, разумеется.

– По-прежнему мой? Ради бога! Еще никто кроме меня не владел мячом.

– У них тоже будет возможность. И еще: если на отрезке между вышкой и рекой твоя подача будет отклонена три раза, ты возвращаешься на исходную позицию, и все начинается сначала. Естественно.

Блицбол стал сюрпризом того лета. В него играли все. Не удивлюсь, если в какой-то форме он и теперь популярен в Девонской школе. Но никто не умел играть в него так, как играл Финеас. Невольно он изобрел игру, которая позволяла максимально раскрыть все его спортивные дарования. Учрежденные им правила ставили владеющего мячом в вопиюще неравное положение по сравнению с остальными игроками, поэтому Финеас практически каждый день, оказываясь на этой позиции, из кожи вон лез, чтобы превзойти самого себя. Увиливая от волчьей стаи, в которую превращались остальные игроки, он использовал отходы назад, обманные движения и приемы массового гипноза, бывшие настолько эффективными, что это удивляло даже его самого; несколько игр спустя я стал замечать, как он, довольный собой, тихо хмыкает – словно сам себе не веря. Во время игры, продолжавшейся без перерыва, он также обладал преимуществом

неисчерпаемого потока энергии – я ни разу не видел, чтобы она у него иссякала. Я никогда не видел его уставшим, задыхающимся, испытывающим перегрузку или обеспокоенным. И на рассвете, и в течение всего дня, и в полночь Финеас всегда был полон этой ровной несокрушимой энергии.

С самого начала было ясно, что никто другой так не приспособлен к какому бы то ни было виду спорта, как Финни – к блицболу. Я это сразу увидел. А почему бы и нет? В конце концов, это же он придумал игру, разве не так? Неудивительно, что он был в ней невероятно хорош, в то время как мы, остальные, только создавали сумятицу на поле – каждый по-своему. Наверное, и поделом нам было, раз мы предоставили ему одному устанавливать правила игры. На самом деле я не слишком задумывался об этом. Какая разница? Это ведь всего лишь игра. И прекрасно, что Финни мог проявить себя в ней. Точно так же, во всем своем блеске, он проявлял себя и во многом другом – например, в отношениях с товарищами по общежитию, с преподавателями; в сущности, Финни привлекал к себе и очаровывал всех, с кем сталкивался. И это меня тоже радовало. Естественно – он же был моим соседом по комнате и лучшим другом.

У каждого в жизни есть исторический момент, который ему особенно дорог. Это момент, когда эмоции приобретали над ним наибольшую власть, так что потом, когда этот человек слышит слова: «сегодняшний мир», или «жизнь», или «действительность», он соотносит их именно с этим моментом, даже если с тех пор прошло полвека. Благодаря выпущенным тогда на волю чувствам в душе человека остается особый отпечаток, и его он пронесит через всю жизнь.

Для меня таким моментом – ибо четыре года для истории всего лишь момент – была война. Война была и остается для меня реальностью. Я все еще инстинктивно живу и думаю в ее атмосфере. Вот некоторые из ее знаковых характеристик: Франклин Делано Рузвельт – президент Соединенных Штатов, и всегда им был. Двумя другими вечными мировыми лидерами являются Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин. Америка никогда не была, не является и никогда не будет землей изобилия, как величают ее в песнях и стихах. Нейлон, мясо, бензин и сталь – в дефиците. Рабочих мест много, а рабочих рук не хватает. Деньги очень легко заработать, но довольно трудно потратить, потому что покупать почти нечего. Поезда всегда опаздывают и всегда забиты «военнослужащими». Война всегда будет продолжаться где-то далеко от Америки и никогда не закончится. Ничто в этой стране не остается долго на

одном месте, включая людей, которые вечно либо уезжают, либо временно пребывают в отпуске. Американцы часто плачут. Шестнадцать лет – ключевой, критический и самый естественный возраст человеческого существования, все другие люди выстраиваются либо впереди, либо позади гармоничного единства шестнадцатилетних мира сего. Когда тебе шестнадцать, взрослые относятся к тебе с некоторым изумлением и почти робостью. Это остается загадкой, пока ты не поймешь: такое отношение обусловлено тем, что они предвидят твое военное будущее, то, что тебе предстоит сражаться за них. Сами вы этого не осознаете. Тратить что-либо попусту в Америке – аморально. Веревка или оловянная фольга – сокровища. Газетные страницы заполнены незнакомыми картами и названиями городов; и каждые несколько месяцев Земля словно бы срывается со своей орбиты, когда вы видите в газетах нечто невероятное, например, фотографии Муссолини – который казался едва ли не еще одним вечным мировым лидером, – подвешенного вниз головой на мясницком крюке. Все по шесть-семь раз в день слушают новости по радио. Все, что доставляет удовольствие, – путешествия, занятия спортом, развлечения, хорошая еда и красивая одежда, – малодоступно и будет таковым всегда. Эти приятные вещи – лишь крохотные фрагменты окружающего мира, и в том, чтобы предаваться им, есть нечто непатриотичное. Все чужеземные страны недостижимы ни для кого, кроме военнослужащих; они далеки, загадочны и имеют смутные очертания, словно находятся за полупрозрачным занавесом. Преобладающий цвет жизни в Америке – грязно-зеленый, который называют цветом хаки. Этот цвет уважаем и очень важен, большинство других рискуют показаться непатриотичными.

Вот эта особая Америка, насколько я понимаю, совсем не типичная, незнакомая, в памяти большинства людей представляющая собой некое размытое неустойчивое пятно, для меня и есть настоящая Америка. В той недолго просуществовавшей особой стране, в Девонской школе, мы с Финни и провели памятное лето, когда он добился некоторых выдающихся результатов в спорте. В подобное время никто не отмечает и не отдает должное никаким достижениям, связанным с физическими упражнениями, если они не касаются подвигов, свершенных на поле боя, где – либо пан, либо пропал, так что тем, чего добился Финни, восхищались только мы, кучка его товарищей.

Однажды он побил школьный рекорд по плаванию. Мы с ним дурачились в бассейне возле большой бронзовой таблицы, на которой были отмечены школьные рекорды в плавании на пятьдесят, сто и двести двадцать ярдов. Под каждой дистанцией были указаны имена

рекордсменов, год, когда был установлен рекорд, и время победителя. Под отметкой «100 ярдов вольным стилем» было написано: «А. Хопкинс Паркер, 1940, 53,0 секунды».

– А. Хопкинс Паркер? – прищурившись, прочел Финни. – Не помню никакого А. Хопкинса Паркера.

– Он закончил школу еще до нас, – сказал я.

– Ты хочешь сказать, что этот рекорд держится все то время, что мы учимся в Девонской школе, и никто его до сих пор не побил? – Это звучало оскорбительно для нашего класса, а Финни был большим патриотом своего класса, равно как и любой другой группы, к которой принадлежал, начиная от нашего с ним тандема и расширяясь во все стороны бесконечно – за пределы человечества, к иным сущностям, к облакам и звездам.

Никого, кроме нас, в бассейне не было. Вокруг блестели, отражая свет, белый кафель и оконные стеклоблоки; тихо колыхалась, бликуя в гигантской ванне, зеленая, неестественно выгладевшая вода, испуская легкий химический запах и урчание множества трубок и фильтров. Даже голос Финни, запертый в этом глухом помещении с высоким потолком, утрачивал свою особую резонирующую звучность и сливался в неразборчивый поток шума, столбом поднимавшегося к потолку.

– У меня ощущение, что я могу проплыть быстрее, чем А. Хопкинс Паркер, – сказал он.

В тренерской мы нашли секундомер. Финни поднялся на тумбочку, наклонил корпус вперед – он видел, что так делают участники соревнований, хотя сам никогда еще в них не участвовал, – я заметил, как он, готовясь к прыжку, расслабляет плечи и руки, как, не переставая владеть своим телом, сбрасывает всякое напряжение, что было неожиданно для человека, намеревающегося побить рекорд.

– На старт! Внимание! Марш! – скомандовал я.

Тело его распрямилось, выстрелило вперед с внезапно обретенной им упругостью металла и заскользило к противоположному борту: плечи над водой, а ступни и бедра так глубоко под нею, что я их даже не различал. По поверхности быстро расходилась поднятая им волна; в конце дорожки тело его расслабилось, на миг словно бы замешкалось, а потом, перевернувшись и снова обретя металлическую упругость, понеслось в обратном направлении. Снова поворот – и опять к противоположному борту. Коснувшись его руками, он поднял голову и посмотрел на меня со спокойным интересом.

– Ну как мои успехи?

Я взглянул на секундомер: Финни побил рекорд А. Хопкинса Паркера

на семь десятых секунды.

– Господи! Так я действительно это сделал. Знаешь, а я ведь понимал, что побеждаю. У меня в голове как будто тикал свой секундомер, и я знал, что иду чуточку быстрее А. Хопкинса Паркера.

– Хуже всего то, что никто этого не видел. А я – не официальный хронометрист. Не думаю, что результат зачтут.

– Конечно, не зачтут.

– Ты можешь попробовать еще раз и снова побьешь рекорд. Завтра. Мы приведем тренера, всех официальных хронометристов, я позвоню в «Девониан», чтобы они прислали корреспондента и фотографа...

Он выбрался из воды и тихо сказал:

– Я не собираюсь ничего повторять.

– Но ты должен!

– Нет, мне просто хотелось узнать, смогу ли я. Теперь знаю. Но я вовсе не хочу делать это напоказ. – В дверях появилось несколько пловцов. Финни внимательно посмотрел на них и произнес, еще больше понизив голос: – И мы не будем это обсуждать. Это останется только между тобой и мной. Ничего не рассказывай... никому.

– Ничего не рассказывать?! И это при том, что ты побил школьный рекорд?!

– Ш-ш-ш-ш! – Он стрельнул в меня острым взволнованным взглядом.

Я замолчал и уставился на него. Но он больше не смотрел на меня.

– Ты неправдоподобно скромн, – спустя несколько секунд сказал я.

– Большое спасибо, – ответил он почти безучастно.

Чего он хотел? Произвести на меня впечатление или что? Никому не говорить? При том, что он побил школьный рекорд, не тренировавшись ни дня?! Но я знал, что он попросил меня об этом серьезно, поэтому никому ничего и не сказал. И может быть, именно поэтому его достижение засело у меня в голове и начало буйно разрастаться в потемках, где я был вынужден его прятать. В книгу рекордов Девонской школы закралась ошибка, ложь, и никто не знает об этом, кроме меня и Финни. А. Хопкинс Паркер, где бы он теперь ни был, продолжал витать в своих иллюзорных эмпиреях. Его победенное имя по-прежнему красовалось на бронзовой таблице школьных рекордов, между тем как Финни добровольно избегал спортивной славы. Конечно, у него уже было много других почетных достижений: Мемориальный Кубок Уинслоу Гэлбрейта по футболу за христианское мужество, проявленное в играх сезона 1941–1942 годов; Почетная лента и премия Маргарет Дьюк Авентура, присуждаемая ученику, который ведет себя на хоккейном поле так, как вел себя ее сын; Премия за



достижения в контактных видах спорта Девонской школы, ежегодно присуждаемая ученику, который, по мнению спортивных наставников, превзошел своих одноклассников по спортивности поведения в играх, требующих физического контакта. Но все это в прошлом, и все это – награды, а не рекорды. В тех видах спорта, в которых Финни участвовал официально – в футболе, хоккее, бейсболе, лакроссе, – рекорды не устанавливались. Переключиться на новый вид всего на один день и тут же побить рекорд – это был такой фокус, такой головокружительный кульбит, какой мне, если честно признаться, и представить было трудно. В такой непредсказуемости мастерства было нечто пьянящее. Когда я думал об этом, у меня немного кружилась голова и начинало трепетать в животе. Одним словом, в этом было что-то ошеломляющее и недостижимое. Когда, глядя на секундомер, я на какую-то долю секунды раньше, чем это отразилось на моем лице или послышалось в голосе, осознал, что Финни побил школьный рекорд, я испытал чувство, которое можно определить словом «шок».

То, что я вынужден был молчать о таком знаменательном событии, лишь усугубило ощущение шока. Это делало Финни чересчур особенным, не для дружбы – для соперничества. А ведь основу наших взаимоотношений в Девонской школе составляло именно соперничество.

– Плавание в бассейнах все равно странное занятие, – сказал он после необычно долгого молчания, когда мы возвращались в общежитие. – Настоящее плавание – только в океане. – А потом самым обыденным тоном, каким он всегда предлагал что-нибудь действительно безумное, добавил: – Давай поедem на пляж.

Пляж находился в нескольких часах езды на велосипеде, его посещение было строго запрещено, так что предложение Финни переходило все границы. Поехать туда означало подвергнуться риску исключения из школы, лишиться себя возможности позаниматься перед важной контрольной работой, которая предстояла мне на следующее утро, нарушить даже ограниченный до разумных пределов свод правил, которые я установил для себя в жизни, а также это требовало долгой утомительной поездки на велосипеде, который я ненавидел.

– Давай, – ответил я.

Мы вытащили свои велосипеды и улизнули по дороге, начинавшейся за школой, от границы ее территории. Будучи инициатором поездки, Финни считал себя обязанным развлекать меня. Он рассказывал длинные истории из своего детства, а когда я, задыхаясь, с трудом крутил педали на крутых подъемах, ехал рядом и беспрерывно шутил. Он анализировал мой

характер и требовал, чтобы я, со своей стороны, признался, что мне больше всего не нравится в нем («Ты слишком вежливый», – сказал я). Временами он ехал задом наперед, не держась руками, или стоя на руле, спрыгивал с велосипеда и снова запрыгивал на него на ходу, как наездники, которых он видел в кино. И пел. Несмотря на музыкальность речи, Финни не мог выдерживать тональность и не помнил ни мелодии, ни слов хотя бы одной песни. Но он обожал слушать музыку и петь.

До пляжа мы доехали на склоне дня. Прилив был уже в разгаре, и волны прибоя мощно били о берег. Я нырнул и сделал несколько гребков, но волны достигали такой силы, словно каждая несла в себе всю мощь океана. Вторая волна, подхватив меня, быстро поволокла к берегу, низвергла со своего гребня вниз и стала стремительно накрывать; миг она предстала гигантской массой, нависшей высоко над моей головой, потом молниеносно обрушилась, и я потерял ориентацию в пространстве, теперь мною полностью распорядилась волна: сначала она потащила меня вниз, в какую-то бездонную пучину, потом я ощутил дно, впечатавшись в песок, потом меня выбросило на берег. Волна, помедлив как бы в нерешительности, с шипением попятилась обратно на глубину, утратив ко мне всякий интерес и не прихватив с собой.

Я отошел подальше от воды и лег. Финни подбежал, церемонно пощупал мой пульс и вернулся в океан. Он провел в воде целый час, каждые несколько минут выскакивая на берег и подходя ко мне поговорить. Жарившее весь день солнце так раскалило песок, что мне пришлось сгрести верхний слой, чтобы лечь, а Финни, чтобы приблизиться ко мне, – каждый раз совершать несколько длинных быстрых прыжков.

Океан, швырявший на ближние скалы пронизанные солнцем пенные хлопья, был по-зимнему холодным. Такое сочетание солнечного сияния и океана, с ревом прибоя и соленым, бесшабашным, изменчивым ветром, дующим с моря, всегда возбуждало Финеаса. Он наслаждался им, носился повсюду и громко хохотал вслед пролетающим чайкам. И делал для меня все, что только сам мог придумать.

Стоя спиной к океану и дувшему от него теперь более прохладному ветру, а лицом – к раскаленным углям мангала, мы съели по хот-догу в прибрежном киоске. Потом отправились в центральную часть пляжа, через которую тянулась вереница традиционных новоанглийских кабачков. Фонари дощатого пляжного променада на фоне темнеющего синего неба выглядели красивой, идеально прямой звездной стрелой, а сливающиеся в единую ленту огни кабачков, тиров и открытых пивных тихо мерцали в прозрачных сумерках.

Мы с Финни, оба в спортивных тапочках и белых слаксах, он – в голубой рубашке поло, я – в футболке, прошлись по променаду из конца в конец. Я заметил, что окружающие пристально смотрят на Финни, и тоже взглянул на него, чтобы понять почему. Его кожа излучала медно-красное сияние, каштановые волосы немного выгорели на солнце, а глаза на фоне загара сверкали холодным синевато-зеленым огнем.

– На тебя все пялятся, – неожиданно сказал он. – Это из-за твоего загара, ты за сегодняшний день загорел как кинозвезда... можно покрасоваться.

Для одного вечера нарушенных нами правил было достаточно. Ни он, ни я не предложили заглянуть в какой-нибудь кабачок или пивную. Мы лишь выпили по кружке пива в совершенно респектабельном баре, убедив бармена – а может, он лишь сделал вид, что убедился, – будто мы уже достаточно взрослые, для чего продемонстрировали ему фальшивые призывные повестки. Потом мы нашли укромное местечко между дюнами на пустынном конце пляжа и устроились там на ночлег. Последними словами традиционного монолога Финни на сон грядущий были:

– Надеюсь, тебе понравилось, как мы провели здесь время. Понимаю, что я притащил тебя сюда чуть ли не под дулом пистолета, но, в конце концов, не поедешь же сюда с кем попало, и один тоже не поедешь; в подростковом возрасте правильный выбор компании для таких вылазок – это твой лучший друг... – он на миг замялся, а потом добавил: – каковым ты и являешься. – После этого у его края дюны наступило молчание.

Такое высказывание требовало немалого мужества. Вот так выставить напоказ искреннее чувство считалось в Девонской школе едва ли не самоубийством. Мне бы тогда сказать ему, что он тоже мой лучший друг, и тем самым сгладить остроту его признания. Я даже начал было, почти уже сказал. Но что-то заставило меня остановиться. Быть может, это была глубина чувства, гораздо более существенного, чем мысль: ведь в нем-то и таится правда.

## Глава 4

На следующий день я впервые увидел рассвет. Он начался не под торжественные звуки океанических фанфар, как я ожидал, а странным серым свечением – словно солнечный свет пробивался сквозь мешковину. Я посмотрел, не проснулся ли Финеас. Тот еще спал и в этом сочащемся свете выглядел скорее мертвым, чем спящим. Океан тоже выглядел мертвым, мертвенно-серые волны язвительно шипели, накатывая на берег, такой же серый и мертвый на вид.

Я перевернулся и попытался снова заснуть, но не смог, а просто лежал на спине, глядя в это серое, похожее на мешковину небо. Очень медленно, постепенно, словно инструменты оркестра, настраиваемые один за другим перед выступлением, его стали пронизывать красочные лучики. От этих цветных прядок начал понемногу оживать и океан, в котором они отражались. Яркие блики заиграли на гребнях волн, и под их серой поверхностью, в глубине, я увидел полуночное зеленое свечение. Пляж, сбрасывая свою мертвую кожу, приобретал призрачную серовато-белую окраску, постепенно белый цвет брал верх над серым, и наконец все вокруг стало незамутненно-белым и чистым, словно райские берега. При виде Финеаса, все еще спавшего в ложбинке под своей дюной, мне на ум пришел Лазарь, словом божьим воскрешенный из мертвых.

Впрочем, долго я мыслями на этом превращении не задержался. Сколько я себя помнил, у меня было ощущение, будто в моей голове постоянно тикает время. Окинув взглядом небо и океан, я понял, что уже около половины седьмого. На обратный путь в Девон уйдет минимум три часа. Важный зачет по тригонометрии должен был начаться в десять.

Проснувшись, Финеас произнес:

- Кажется, никогда еще я так хорошо не спал ночью.
- А когда это ты спал плохо?
- Тогда, когда сломал на футболе лодыжку. Мне нравится, как сейчас выглядит этот пляж. Совершим утренний заплыв?
- Ты сбрендил? Уже поздно.
- А который час? – Финни знал, что я – ходячие часы.
- Скоро семь.
- Еще есть время для короткого заплыва, – ответил он и прежде, чем я успел хоть что-нибудь ответить, рысцой, сбрасывая на ходу одежду, побежал к воде и нырнул. Я ждал его, стоя на месте. Вскоре он вернулся,

излучая энергию, сияние прохлады и не умолкая ни на миг. Мне нечего было ему сказать.

– Деньги у тебя? – только и спросил я, вдруг забеспокоившись, не выпали ли у него ночью наши общие семьдесят пять центов. Начались поиски в песке, оказавшиеся бесплодными, так что пришлось нам отправляться в долгий путь без завтрака. В Девон мы прибыли как раз к началу моего зачета, который я благополучно провалил. Что так и будет, я понял, едва взглянув на задание. Это был первый в моей жизни зачет, который я провалил.

Но Финни не оставил мне возможности жаловаться. Сразу после ланча начался матч по блицболу, продолжавшийся большую часть дня, а сразу после обеда состоялось собрание Суперсоюза самоубийц летнего семестра.

Вечером, в нашей комнате, хоть и вымотанный всеми этими упражнениями, я все же попытался разобраться, что случилось со мной на тригонометрии.

– Ты слишком усердно работаешь, – сказал Финни, сидя напротив меня за столом с книгой. Настольная лампа отбрасывала круглую желтую лужицу света посередине стола, между нами. – Ты знаешь все по истории, английскому и французскому, да и по остальным предметам тоже. На кой тебе сдалась тригонометрия?

– Ну, для начала, мне нужно ее сдать, чтобы закончить школу.

– Ой, только не начинай! Уж если кто-нибудь когда-нибудь в Девонской школе и мог быть уверенным, что получит аттестат, так это ты. Ты работаешь не ради этого. Ты хочешь быть первым в классе, чтобы произнести прощальную речь на выпускном вечере – на латыни или еще каким-нибудь скучным способом, – ты хочешь быть школьным вундеркиндом. Я же тебя знаю.

– Не будь идиотом. Я бы не стал тратить время на подобные глупости.

– Ты никогда не трратишь время. Вот почему мне приходится делать это вместо тебя.

– В любом случае, – ворчливо добавил я, – должен же кто-то быть первым учеником в классе.

– Вот видишь, я же знал, что это и есть твоя цель, – спокойно заключил он.

– Да ну тебя.

А что, если и так? Мне казалось, что это не такая уж плохая цель. Финни выиграл Кубок Гэлбрейта по футболу и получил Премию за достижения в контактных видах спорта, еще две или три спортивные награды наверняка получит в этом или следующем году. Если я стану

первым в классе и мне поручат произнести речь на выпускном вечере, тогда мы сравняемся...

Он медленно поднял голову, моя резко опустилась. Я уставился в учебник.

– Расслабься, – сказал он. – Если ты будешь продолжать в том же духе, у тебя мозги взорвутся.

– За меня можешь не беспокоиться.

– Я и не беспокоюсь.

– А тебе не будет... – я запнулся, не уверенный, что мне хватит самообладания закончить вопрос: – досадно, если я стану первым в классе, а?

– Досадно? – Пара синевато-зеленых глаз уставилась на меня. – А ты не думаешь, что это маловероятно в любом случае, учитывая, что есть еще Чет Дагласс?

– Но тебе, тебе это не было бы досадно? – повторил я очень четко, более низким голосом.

Он улыбнулся той своей фирменной полуулыбкой, которая уже тысячу раз вовлекала его в конфликты.

– Я бы застрелился от зависти.

Я ему поверил. Ироническая форма ответа была лишь ширмой; я поверил ему. Страница учебника по тригонометрии у меня перед глазами затуманилась и превратилась в неразборчивое месиво значков. Я ничего не видел. Мозги кипели. Ему была невыносима даже мысль о том, что я могу стать первым в классе! В голове у меня пронеслось несколько вспышек – взрывались одна убежденность за другой: вот взлетело на воздух представление о настоящем друге, вот – о товарищеской привязанности и преданности, вот – вера в то, что есть человек, на которого можно полностью положиться в джунглях мужской школы, вот – надежда, что в этой школе – в этом мире – существует кто-то, кому я могу довериться.

– Чет Дагласс, – неуверенно сказал я, – да, это вполне вероятно.

Горе мое было настолько глубоким, что я больше не мог говорить. Я пробежал глазами по странице, мне стало трудно дышать, как будто из комнаты вдруг выкачали весь кислород. Одна за другой мысли мелькали в моем опустошенном разуме, отчаянно стремившемся отыскать то, на что еще можно положиться – пусть не полностью, не безоговорочно, эта возможность была уничтожена как таковая, – но хотя бы какое-нибудь малое утешение, что-нибудь, что уцелело в руинах.

И я нашел! Я нашел эту единственную мысль, дающую опору. Вот в чем она состояла: вы с Финеасом уже равны. Вы с ним равны во вражде.

Вы оба хладнокровно правите вперед только ради себя самого. Ты ненавидишь его за то, что он побил школьный рекорд по плаванию, ну и что с того? Он тоже ненавидит тебя – за то, что ты до последнего семестра получал высшие оценки по всем предметам. И по тригонометрии у тебя была бы высшая оценка, если бы не он. Если бы не он!

И тут новое озарение пронзило мозг, ясное и холодное, как рассвет там, на пляже: Финни нарочно все устроил так, чтобы сорвать мне зачет. Этим же объяснялись и блицбол, и ежевечерние собрания Суперсоюза самоубийц, этим объяснялось его настойчивое стремление заставить меня разделять все его забавы. И вся его болтовня в духе ты-мой-лучший-друг! И тень, которая накрывала его лицо, если я не хотел что-то делать вместе с ним! Инстинктивная потребность все делить со мной? Конечно, он хотел делить со мной все, особенно длинный хвост своих слабых оценок по всем предметам. Таким образом он, великий атлет, мог по-своему опережать меня. Все это было хладнокровным расчетом, обманом, проявлением враждебности.

Я почувствовал себя лучше. Так человек от облегчения покрывается испариной, избавившись от тошноты; да, я почувствовал себя лучше. Наконец мы сравнялись – сравнялись во вражде. Соперничество не на жизнь, а на смерть было обоюдным.

После этого я стал образцовым учеником. Я и всегда был хорошим учеником, хотя учеба сама по себе не интересовала и не воодушевляла меня так, как Чета Дагласса. Но теперь я стал не просто хорошим, а выдающимся, соперничать со мной мог разве что этот самый Чет Даггласс. Однако я начал замечать, что подлинный интерес Чета к знаниям является и его слабостью. Его порой уводило далеко в сторону; например, он настолько увлекся наклонными плоскостями в стереометрии, что почти провалил тригонометрию, – как и я. Когда мы проходили «Кандида», Чет открыл для себя новый взгляд на мир и продолжал жадно читать Вольтера по-французски, когда класс уже перешел к другим авторам. Да, в этом было его уязвимое место, потому что мне, например, было все едино – что Вольтер, что Мольер, что законы движения, что Великая хартия вольностей, что антропоморфизм, что «Тэсс из рода д'Эрбервиллей», – над всем этим я работал с одинаковым усердием.

Финни ни о чем таком и понятия не имел, все это было бесконечно далеко от него. В классе он обычно сидел, ссутулившись за партой, с философски-понимающим видом настороженно следил за дискуссией, а когда его самого заставляли высказаться, завораживающая власть его голоса в сочетании с неординарностью мышления рождали ответы,

которые часто бывали ошибочными, но которые редко можно было заклеить как дурацкие. Письменные контрольные были для него катастрофой, потому что он не мог прочесть вслух то, что написал, и получал отметки, позволяющие разве что зачесть результат. Не то чтобы он никогда не работал – работал, но спорадически: время от времени, короткими наскоками. По мере того как длилось то судьбоносное лето, я подтянул свою дисциплину, и Финеас тут же увеличил интенсивность своих учебных «припадков».

Все это было мне совершенно очевидно. Я все более и более уверенно шел к тому, чтобы стать лучшим учеником школы; Финеас, без всяких сомнений, был лучшим спортсменом, таким образом мы делались равными. Но если он оставался очень слабым учеником, то я был вполне приличным спортсменом, и если все это бросить на чашу весов, то они определенно склонялись в мою сторону. Очередные атаки школьной программы были с его стороны чрезвычайными мерами спасения. Я удвоил свои усилия.

Удивительно, как хорошо мы ладили в те недели. Иногда я ловил себя на том, что бездумно соскальзываю в былую привязанность к нему, и почти не вспоминаю о его предательстве. Мне трудно было вспоминать о нем в летние дни, сменявшие один другой, когда сверху лилось лучезарное сияние и утренний воздух наполнялся не поддающимся описанию ощущением распахивающейся жизни, кислородного опьянения, по-северному языческого восторга, какого-то сияющего ореола, какого-то чувства, настолько бессмысленно многообещающего, что от испуга я падал обратно в кровать. Трудно было помнить о нем в пьянящей и чувственной чистоте таких утр; и я забывал, кого ненавижу и кто ненавидит меня. Мне хотелось плакать от внезапных приступов беспричинной радости или невыносимого ожидания, или оттого, что те утра были для меня чрезмерно наполнены красотой, ведь я все равно знал: и в таком прекрасном мире слишком много ненависти.

Лето лениво тащилось вперед. Никто не обращал на нас никакого внимания. Однажды я поймал себя на том, что описываю мистеру Прадомму, как мы с Финеасом спали на пляже, и он, казалось, слушал с большим интересом, вникал в подробности, но при этом упустил главное: что мы откровенно нарушили одно из основных правил школы.

Всем было все равно, никто, в сущности, не следил за нашей дисциплиной, мы были предоставлены самим себе.

Наступил август, добавив великолепия нью-гемпширскому лету. В начале месяца выдалось два дня, когда лил мелкий затяжной дождь, а после



все стало прощально пышным. Ветви старых деревьев, которые я обычно видел либо полуоблетевшими, либо совсем голыми во время зимних семестров, теперь разве что не ломались под тяжестью буйной густой листвы. Маленькие проплешины на земле, за которыми никто не ухаживал, неожиданно превратились в цветники, неведомого происхождения подлесок вокруг спорткомплекса и река расцвели яркими красками. В воздухе ощущалась потаенная свежесть, словно посреди лета вздумала вернуться весна.

Но экзамены были на носу. Я оказался не готов к ним настолько, насколько мне хотелось бы. Союз самоубийц продолжал собираться каждый вечер, и я исправно присутствовал на сходках, потому что не хотел, чтобы Финни раскусил меня так же, как я раскусил его.

А кроме того, я не мог позволить ему обойти меня, хотя прекрасно знал: совершенно неважно, кто возьмет верх. Важно только то, что происходит в душе. А я уже понял, что тайное убежище Финни – одинокое, эгоистичное честолюбие. Он не был лучше меня, независимо от того, кто побеждал во всех наших состязаниях.

Экзамен по французскому языку был назначен на последнюю пятницу августа. В четверг во второй половине дня мы с ним занимались в библиотеке; я повторял слова, он писал записочки – «je ne<sup>[6]</sup> дам ломаного гроша за le français<sup>[7]</sup>», «les filles en France ne<sup>[8]</sup> носят les pantelons<sup>[9]</sup>» – и передавал мне с серьезным видом в качестве aide-mémoire<sup>[10]</sup>. Разумеется, ничего хорошего из этих занятий не вышло. После ужина я отправился к себе в комнату, чтобы попробовать еще раз. Финneas явился спустя несколько минут после меня.

– Вставай, старший член-основатель! – весело воскликнул он. – Элвин Чумной Лепеллье объявил, что намерен сегодня вечером совершить наконец квалификационный прыжок, чтобы сохранить лицо.

Я ни на секунду в это не поверил. Чумной Лепеллье, даже окажись он на тонущем корабле, впал бы в ступор и ни за что не прыгнул бы в воду. Финни это придумал, чтобы помешать мне хорошо сдать экзамен. Я повернулся к нему с выражением напускного смирения.

– Если он прыгнет с того дерева, можешь называть меня Махатмой Ганди.

– Ладно, – рассеянно согласился Финни. У него была привычка все будто бы неправильно понимать. – Ну, давай, пошли. Все равно мы должны там быть. Кто знает – а вдруг он на этот раз действительно прыгнет.

– Ой, ради бога! – Я захлопнул французский учебник.

– В чем дело?

Какое представление! Выражение его лица было безупречно простодушным и вопрошающим.

– Заниматься надо! – проворчал я. – Заниматься! Понимаешь? Учебники. Работа. Экзамены.

– Ну да... – Он ждал продолжения, как будто не понял, к чему я клоню.

– Господи боже мой! Как будто ты не понимаешь, о чем я говорю. Ну конечно, не понимаешь. Ты – нет. – Я встал и с грохотом придвинул стул к столу. – Ладно, пошли. Посмотрим, как трусливый малыш Лепеллье не прыгнет с дерева, и мои хорошие оценки пойдут коту под хвост.

Он взглянул на меня с интересом и удивлением.

– Ты хочешь заниматься?

Мне стало немного не по себе от мягкости его тона, и я тяжело вздохнул.

– Ладно, забудь. Я знаю, что я – член клуба. Пошли. Что мне остается?

– Не ходить. – Он сказал это очень просто и небрежно, как говорят: «Хорошая погода», и, пожав плечами, добавил: – Не ходи. Какого черта, это же всего лишь игра.

Остановившись на полпути и взглянув на него, я пробормотал:

– Что ты имеешь в виду?

Что он имел в виду, было совершенно ясно, но я хотел вытащить из него то, что он подразумевал под этими словами, то, что он, вероятно, думал на самом деле. С таким же успехом я мог бы спросить: «Тогда кто ты?» Передо мной стоял совершеннейший незнакомец.

– Я не знал, что тебе нужно заниматься, – просто ответил он. – Никогда не думал, что ты вообще это делаешь. Мне казалось, что у тебя все получается само собой.

Похоже, он провел своего рода параллель между моими занятиями и своими спортивными способностями. Возможно, ему казалось, что все, в чем человек преуспевает, дается ему без труда. Он еще не знал, что сам он уникален.

Мне не удалось сохранить естественную интонацию голоса.

– Если мне надо заниматься, то и тебе тоже, – выдавил я.

– Мне? – Он едва заметно улыбнулся. – Слушай, я могу заниматься до скончания веков и все равно никогда не поднимусь выше отметки «удовлетворительно». Но ты – другое дело, ты же умный. Нет, правда. Если бы у меня были такие мозги, как у тебя, я бы... я бы вскрыл себе череп, чтобы люди могли их увидеть.

– Подожди минутку...

Он положил ладони на спинку стула и наклонился ко мне.

– Я знаю. Мы много дурачимся и все такое, но иногда приходится быть серьезным, в некоторые моменты. Если ты в чем-то по-настоящему хорош... я хочу сказать, если никто или мало кто может в этом с тобой сравниться, тогда ты должен относиться к этому серьезно. Ради бога, нечего лодырничать. – Он осуждающе нахмурился. – Почему ты раньше не говорил, что тебе нужно заниматься? Не отходи от письменного стола – и все отличные отметки будут твоими.

– Подожди минутку, – сам не поняв зачем, повторил я.

– Все в порядке. Я прослежу за стариной Чумным. Хотя думаю, что он, скорее всего, не собирается прыгать. – Финни был уже у двери.

– Подожди, – более требовательно сказал я. – Подожди минутку. Я иду.

– Нет, приятель, не идешь, ты будешь заниматься.

– Мои занятия – не твоя забота.

– Ты думаешь, что уже достаточно поработал?

– Да, – сказал я резко, чтобы пресечь его дальнейшие попытки указывать мне, что делать. Он пропустил это мимо ушей и пошел впереди меня, насвистывая.

Мы прошли через весь кампус, следуя за собственными гигантскими тенями, Финneas принялся болтать на своем ужасном французском, чтобы дать мне дополнительную возможность попрактиковаться. Я не отвечал, мой мозг пытался постичь новые измерения обособленного пространства моего существования. Какой бы страх ни испытывал я перед тем деревом, он был ничем по сравнению с этим. Сейчас опасность грозила не моей шее, а моему рассудку. Финни никогда ни секунды не завидовал мне. Теперь я понимал, что между нами не было и не могло быть никакого соперничества. Мы были из разного теста.

Этого я вынести не мог. Мы подошли к остальным, уже слонявшимся вокруг дерева, и Финneas, возбужденный видом догорающего заката, предстоящего испытания деревом, соревновательного напряжения, охватившего всех нас, начал лихорадочно сбрасывать одежду. В такие моменты он расцветал и жил по-настоящему.

– Пошли, ты и я, – крикнул он. Его осенила новая идея. – Мы прыгнем вместе. Здорово придумано, а?

Теперь уже ничто не имело значения, я равнодушно был готов согласиться на что угодно. Он начал подниматься, цепляясь за деревянные колышки, и я полез следом за ним к высокому суку, нависавшему над берегом. Финneas немного продвинулся по нему вперед, для равновесия

держась рукой за ближайшую тонкую веточку.

– Подойди чуть поближе, – сказал он, – и тогда мы сможем прыгнуть одновременно.

Открывавшийся сверху вид был потрясающим: темно-зеленые пространства игровых полей, окруженных густым кустарником, белый, кажущийся крохотным школьный стадион за рекой. Падавшие из-за наших спин длинные лучи заходящего солнца, бликуя, освещали кампус, делая рельефными малейшие неровности земли, подчеркивая особенность каждого куста.

Крепко держась за ствол, я сделал шаг вперед, и тут мои колени подкосились и я качнул сук. Финни, потеряв равновесие, повернул голову, взглянул на меня с чрезвычайным интересом, а потом стал падать боком, обламывая мелкие ветви на своем пути, и грохнулся на берег с отвратительным неестественным стуком. Это было его первое неуклюжее действие, которое я видел. С бездумной решительностью я шагнул на край сука и прыгнул в воду, от бывшего страха у меня не осталось и следа.

## Глава 5

В течение следующих нескольких дней ни одного из нас и близко не подпускали к лазарету, но я был в курсе всех слухов. В конце концов появился достоверный факт: у Финни раздроблена нога. Что точно означало это слово, я не понимал: что нога сломана в одном месте? В нескольких местах? Аккуратно или с осколками? Но вопросов я не задавал. Больше ничего узнать не удалось, хотя предмет этот обсуждался бесконечно. В мое отсутствие, должно быть, говорили и о других вещах, но со мной – только о Финеасе. Полагаю, в этом не было ничего удивительного. Я ведь стоял прямо за ним, когда это случилось, и был его соседом по комнате. Его травма произвела на преподавателей более глубокое впечатление, чем какое бы то ни было другое несчастье, на моей памяти случившееся в школе. Как будто они чувствовали несправедливость в том, что беда постигла одного из шестнадцатилетних, одного из немногих молодых людей, которые летом 1942 года еще должны были быть свободны и счастливы.

Я больше не мог всего этого слышать. Если бы кто-то в чем-то обвинял меня, я нашел бы силы защититься. Но ничего подобного не было. Финеас, наверное, был слишком болен – или слишком благороден, чтобы что-нибудь рассказать.

Я старался как можно больше времени проводить в одиночестве, в своей комнате, пытаюсь стереть из памяти все мысли, забыть, где я и даже кто я. Однажды, пребывая в состоянии этого полного оцепенения, я переодевался к ужину, как меня вдруг осенила идея – первая сколько-нибудь определенная с тех пор, как Финни упал с дерева. Я решил надеть его вещи. У нас был один размер, и он, хоть вечно критиковал мою одежду, часто носил ее, быстро забывая, что принадлежит ему, а что мне. Я этого никогда не забывал, но тем вечером надел его кордовские туфли, его брюки, потом, поискав, нашел наконец в ящике комода тщательно выстиранную розовую рубашку. Ее высокий, немного жестковатый воротник уперся мне в шею, широкие манжеты коснулись запястий, дорогая ткань прильнула к коже, и я испытал ощущение принадлежности к знати, почувствовал себя аристократом, кем-то вроде испанского гранда.

Но, взглянув в зеркало, не увидел никакого аристократа, ничего даже отдаленно напоминающего того персонажа, которого нафантазировал себе. Я был Финеасом, живым Финеасом. У меня даже на лице появилось его

ироническое выражение, печать его язвительной, оптимистической сообразительности. Понятия не имею, почему это принесло мне такое облегчение, но, стоя перед зеркалом в его торжественной рубашке, я подумал, что никогда больше не буду мучиться, пытаюсь разобраться в путанице собственного характера.

На ужин я не пошел. Чувство перевоплощения не покидало меня весь вечер, даже когда, раздевшись, я лег в постель. В ту ночь я спал спокойно, и только проснувшись, понял, что иллюзия рассеялась, и я вновь оказался лицом к лицу с самим собой и с тем, что я сотворил с Финни.

Рано или поздно это должно было случиться, и оно случилось тем утром.

– Финни уже лучше! – сказал мне доктор Стэнпоул, стоя на ступеньках часовни и стараясь перекричать заключительные аккорды органа, доносившиеся у нас из-за спины.

Пока я, спотыкаясь, пробирався сквозь толпу хористов в черных рясах, полы которых трепетали на утреннем ветерке, слова доктора бесконечно повторяющимся эхом звучали у меня в ушах. Он мог разоблачить меня прямо здесь, перед всей школой, но вместо этого дружелюбно развернул в сторону аллеи, которая вела к лазарету.

– Самые тяжелые дни позади, теперь он в состоянии принять одного-двух посетителей, – добавил доктор.

– А вы не думаете, что он расстроится, увидев меня?

– Тебя? Нет. С какой стати? Я не хочу, чтобы кто-нибудь из учителей хлопал крыльями вокруг него. А вот один-два приятеля пойдут ему на пользу.

– Наверное, он еще очень слаб.

– Да уж, перелом оказался не из легких.

– Но как он... как он чувствует себя сейчас? То есть он более-менее бодрый или?..

– Ну ты же знаешь Финни. – Сейчас я был совершенно уверен, что совсем его не знаю. – Да, перелом у него не из простых, – повторил доктор, – но мы его все же вытащили. Он снова будет ходить.

– Снова ходить?!

– Да. – Теперь доктор не смотрел на меня, и тон его голоса немного изменился. – Со спортом для него покончено после такой травмы. Это точно.

– Но он наверняка сумеет, – воскликнул я, – раз нога на месте и вы не собираетесь ее отрезать – вы ведь не собираетесь, правда? А раз нога на месте и кости срастутся, то он должен стать таким же, каким был, почему

нет? Конечно, станет.

Доктор Стэнпоул помешкал, глядя на меня, и сказал:

– Со спортом покончено. Ты как его друг должен помочь ему осознать и принять это. Чем быстрее это случится, тем лучше пойдет процесс выздоровления. Если бы у меня была хоть малейшая надежда, что он сможет больше чем просто ходить, я бы испробовал все возможные способы лечения. Но такой надежды нет. Мне, как и всем, разумеется, ужасно жаль. Это трагедия, но так уж сложилось.

Я схватился за голову, вонзив ногти в кожу, и доктор, желая утешить, положил руку мне на плечо. В этот момент я совсем потерял контроль над собой и, закрыв лицо руками, разрыдался; я оплакивал и Финеаса, и себя, и доктора, верившего в то, что осознать значит смириться. А больше всего я плакал из-за доброты в свой адрес, которой не ожидал.

– Ну это никуда не годится, – сказал доктор. – Ты должен быть бодрым и излучать надежду. Это то, что требуется твоему другу. Он захотел увидеть именно тебя. Ты был единственным, кого он просил привести.

От этих слов слезы мои мгновенно высохли. Я отнял руки от лица и увидел краснокирпичную стену лазарета, мы приближались к этому веселому на вид зданию. Конечно, я был первым, кого он захотел увидеть. Финеас никогда не стал бы судачить у меня за спиной, обвинение он бросит мне с глаза на глаз.

Все происходило очень быстро, мы поднялись по лестнице, и уже в следующий момент я оказался в коридоре, а доктор Стэнпоул подталкивал меня к двери.

– Он там. Я присоединюсь к вам через минуту.

Дверь была чуть приоткрыта, я толкнул ее и замер на пороге. Финеас лежал среди подушек и простыней, его левая нога, огромная, в белых повязках, была подвешена на вытяжке невысоко над кроватью. От стеклянной бутылки, закрепленной в штативе, к его правой руке тянулась гибкая трубка. Внутри меня словно перекрылся какой-то жизненно важный канал, я понял, что сейчас потеряю сознание.

– Ну, входи же, – услышал я его голос. – Ты выглядишь хуже, чем я.

Тот факт, что он был в состоянии шутить, немного привел меня в чувство, я направился к стулу, стоявшему возле его кровати. За минувшие несколько дней он утратил свой загар и, казалось, уменьшился. Он изучал меня взглядом, словно пациента. В его глазах больше не было обычного добродушия, они затуманились, и в них появилось нечто потустороннее. Чуть позже я понял, что он – под действием лекарств.

– Ты-то почему выглядишь как больной? – спросил он.

– Финни, я... – Я уже не контролировал свою речь, слова вылетали сами собой, как у человека, загнанного в угол. – Что случилось там, на дереве? На этом проклятом дереве! Я спилю его! Чтобы никто с него больше не прыгал. Что случилось, что случилось? Как ты упал, как ты мог так упасть?

– Просто упал. – Его взгляд блуждал по моему лицу. – Что-то качнулось, и я свалился. Помню только, что обернулся и посмотрел на тебя, мне показалось, что это длилось целую вечность. Я еще подумал, что смогу ухватиться за тебя.

Я резко отшатнулся от него. «Ага, и утащить меня за собой!»

Он продолжал рассеянно смотреть мне в лицо.

– Ухватиться за тебя, чтобы не упасть.

– Ну да, естественно. – Мне не хватало воздуха в этой тесной комнате. – Я попытался, помнишь? Протянул руку, но она повисла в воздухе: ты уже сорвался и летел вниз.

– Я только помню, как увидел твое лицо. У него было ужасно смешное выражение. Ошарашенное, прямо как сейчас.

– Сейчас? Ну конечно, я действительно ошарашен. Кто бы не был ошарашен, господи помилуй? Это ужасно, все это ужасно.

– Но я не понимаю, почему ты выглядишь таким ошарашенным. У тебя такой вид, как будто это случилось с тобой.

– Почти так и есть! Я ведь был там, на том же суку, рядом.

– Да, я знаю. Я все помню.

Повисла тяжелая тишина, а потом я сказал очень осторожно, как будто от моих слов мог произойти взрыв:

– Ты помнишь, из-за чего ты упал?

Его глаза продолжали скользить по моему лицу.

– Не знаю, наверное, потерял равновесие. Да, наверное, так. Правда, было у меня ощущение... ну, чувство, что, когда ты стоял рядом со мной, т-т-ы... Не знаю... было какое-то ощущение. Но что можно сказать наверняка, основываясь на ощущениях? Дурацкая идея. Видно, это мне почудилось в бреду. Так что нужно просто забыть. Я просто упал, – он отвернулся, чтобы нащупать что-то между подушками, – вот и все. – Он снова взглянул на меня. – Ты прости меня за то, что у меня возникло такое ощущение.

На его искреннее извинение за то, что он заподозрил правду, мне сказать было нечего. Он не собирался меня ни в чем обвинять. У Финни было лишь неясное ощущение, и в данный момент он, должно быть, формулировал новую заповедь своего персонального декалога: никогда не



обвиняй друга в преступлении, если у тебя есть всего лишь ощущение, что он его совершил.

А я-то считал, что мы соперники! Теперь это казалось таким смехотворным, что мне хотелось заплакать.

Если бы здесь, на моем месте, в этом омуте вины, оказался Финneas, что бы чувствовал он и что бы он сделал?

Он бы сказал мне правду.

Я вскочил так резко, что перевернул стул, и уставился на Финни в изумлении; он отвечал мне таким же взглядом, и мало-помалу губы его начали складываться в ухмылку.

– Ну? – произнес он наконец в своей дружеской понимающей манере. – Ты меня что, загипнотизировать решил?

– Финни, я должен тебе кое-что сказать. Тебе это очень не понравится, но я должен.

– Боже мой, сколько страсти, – сказал он, падая обратно на подушки. – Ты прямо похож на генерала Макартура.

– Мне плевать, на кого я похож, и, когда я скажу то, что собираюсь, ты не будешь так думать. Хуже этого ничего на свете не может быть, мне очень жаль, и я сам себе противен, но я должен это сказать.

Но я не осмелился. Прежде чем я успел открыть рот, вошли доктор Стэнпоул с медсестрой, и меня выставили из палаты. На следующий день доктор Стэнпоул решил, что Финни еще недостаточно окреп, чтобы принимать посетителей, даже старых друзей вроде меня. А вскоре после этого Финни на санитарной машине увезли домой, в пригород Бостона.

Летний семестр закончился, о чем было объявлено официально. Но для меня он оставался в подвешенном состоянии неопределенности, странным образом остановленным еще до своего окончания. Я отправился домой, в родной южный город, на каникулы, которые провел в каком-то нереально-задумчивом состоянии, словно уже когда-то проживал этот месяц, и тогда он был мне так же неинтересен, как сейчас.

В конце сентября того, 1942 года я отправился обратно в Девон, с пересадками, на тогдашних суматошных, переполненных поездах. В Бостон я прибыл с семнадцатичасовым опозданием; в школе это могло служить предметом гордости: те из нас, кто жил далеко, несколько дней после возвращения держали внимание аудитории рассказами о своих дорожных приключениях, реальных или вымышленных.

Мне посчастливилось поймать такси на Южном вокзале, но вместо того, чтобы сказать шоферу: «Северный вокзал», чтобы проехать через Бостон из конца в конец и вскочить в последний поезд, на котором я

должен был проделать оставшийся короткий участок пути до Девона, вместо всего этого я, усевшись на заднее сиденье, произнес адрес Финни в пригороде.

Мы очень легко отыскали его дом на улице, обрамленной древними вязами, кроны которых смыкались, превращая ее в зеленый неф. Дом был высоким, белым и странным образом очень подходящим для того, чтобы быть именно домом Финеаса. На улицу он выходил фасадом, не лишенным элегантности, хотя в глубине двора за ним тянулись заурядные пристройки и флигели, и вовсе заканчивавшиеся простым большим амбаром.

Финеас никогда ничему не удивлялся. Вот и теперь, когда домработница открыла дверь и проводила меня к нему в комнату, он вовсе не удивился, но, похоже, обрадовался.

– Значит, ты все-таки объявился! – Его голос возбужденно взвился. – И наверное, привез мне какое-нибудь южное лакомство, да? Ягоды жимолости, черную патоку или что-нибудь вроде этого? – Я пытался придумать какой-нибудь шуточный ответ, но ничего не приходило в голову. – Или кукурузный хлеб? Ну, ты же что-нибудь наверняка привез? Не мог же ты проделать долгий путь до Дикси<sup>[11]</sup> и обратно и не привезти ничего, кроме своей унылой физиономии. – Он продолжал болтать, игнорируя мой шокированный и смущенный вид: я онемел, увидев его сидящим в большом кресле и обложенным со всех сторон подушками, напоминавшими больничные. В отличие от того, что было в девонском лазарете, где он выглядел спортсменом, ненадолго покинувшим поле из-за травмы, и где казалось, что вот-вот войдет тренер и велит ему возвращаться на поле, здесь, на этой старинной тихой улочке, в окружении подушек, сидя перед огромным новоанглийским камином, он представился мне инвалидом, прикованным к креслу.

– Я привез... Черт, я всегда забываю что-то кому-то привезти. – Я изо всех сил старался не выдать голосом переполнявшего меня чувства вины. – Я тебе что-нибудь пришлю. Цветов или еще чего.

– Цветов?! Да что с тобой приключилось там, в Дикси?

– Ну тогда... – В голову не приходило ни единой легкомысленной реплики. – Тогда я пришлю тебе каких-нибудь книг.

– К черту книги. Я предпочитаю поговорить. Что интересного случилось там, на Юге?

– По правде говоря... – Я мобилизовал всю свою жизнерадостность. – Случился пожар. Загорелась трава за нашим домом. Мы... схватили несколько метел и стали сбивать огонь. Наверное, на самом деле мы его только раздували, потому что он продолжал разгораться, пока наконец не

приехали пожарные. Они, наверное, догадались, где горит, по тому, как мы размахивали своими метлами, пытаясь их потушить.

Финни история понравилась. Но она настроила нас на привычный дружеский лад: приятели рассказывают друг другу байки. Как я мог после этого перевести разговор в серьезное русло? Это было бы даже не как удар молнии. Финни бы просто не воспринял этого всерьез.

Только не в этом разговоре, не в этой комнате. Если бы я мог встретиться с ним на каком-нибудь вокзале или на перекрестке дорог. Только не здесь. Здесь маленькие оконные секции сияли чистотой и на стенах висели миниатюры и старинные портреты. А кресла были либо в мягкой обивке, слишком удобные, чтобы, сидя в них, не задремать, либо – жесткие, в колониальном стиле, которыми никто не пользовался. Имелось несколько массивных квадратных столов, уставленных семейными фотографиями, между которыми там и сям лежали книги и журналы, а также три маленьких изящных столика, которые ничему не служили. Это была комбинированная комната: несколько красивых предметов мебели предназначались для того, чтобы гостям было на что посмотреть, остальные – для использования людьми, живущими в доме.

Я знал Финни товарищем по безликому общежитию, спорткомплексу, игровому полю. В комнате, которую мы делили с ним в Девоне, множество незнакомых нам людей жили до нас и будут жить после. Именно там я сделал то, что сделал, но рассказывать об этом мне придется здесь. И я чувствовал себя дикарем, вышедшим из джунглей, чтобы разнести все в пух и прах.

Я сел поглубже в своем колониальном кресле. Его жесткая спинка и высокие подлокотники моментально заставили меня принять позу воплощенной благовоспитанности. Кровь начала пульсировать в висках, ну и пусть. Я был готов говорить.

– Большую часть каникул я думал о тебе, – сказал я.

– Да ну? – Он мельком заглянул мне в глаза.

– Да, о тебе и о... несчастном случае.

– Ты настоящий друг. Думать обо мне на каникулах!..

– Я думал об этом... о тебе... потому что... я думал о тебе и о несчастном случае, потому что он произошел из-за меня.

Финни посмотрел на меня спокойным твердым взглядом, его лицо было красивым и бесстрастным.

– Что ты хочешь сказать этим «из-за меня»? – Голос его был таким же спокойным и твердым, как и взгляд.

Мой собственный голос звучал тихо и казался чужим.

– Я качнул сук. Все произошло из-за меня. – Осталась еще одна, последняя фраза: – Я нарочно качнул сук, чтобы ты упал.

Сейчас он выглядел старше, чем когда-либо.

– Ну разумеется, ничего подобного ты не сделал.

– Нет, сделал. Сделал!

– Конечно же, нет. Дурак ты. Сядь, дурачина.

– Ударь меня! – Я поднял на него взгляд. – Ударь меня! Ты даже не можешь встать. Не можешь даже подойти ко мне!

– Если ты не заткнешься, я тебя убью.

– Нет, вы посмотрите! Он меня убьет! Ну вот, теперь тебе все известно! Я сделал это, потому что так хотел! Да ты и сам это знаешь!

– Я ничего не знаю. Уходи. Я устал, и меня от тебя тошнит. Уходи. – Он утомленно обхватил голову руками – совершенно не похоже на себя.

И тогда меня осенило: я ведь снова нанес ему травму. Мне пришло на ум, что эта травма, быть может, даже более глубока, чем прежняя. Мне бы нужно сделать шаг назад, отступить. А может, он прав? В конце концов, действительно ли я намеренно и осознанно сделал с ним это? Я не мог вспомнить, я вообще не мог ни о чем думать. Как бы то ни было, теперь, когда он все узнал, ему стало хуже. И я должен отказаться от своих слов.

Но не здесь.

– Ты ведь вернешься в Девон через несколько недель, правда? – пробормотал я после того, как некоторое время мы оба молчали.

– Конечно. Ко Дню благодарения уж точно вернусь.

Вот там, в Девоне, где каждая деталь обстановки не кричит, как здесь, что он – неотъемлемая часть этого дома, я смогу с ним помириться.

А пока надо было как-то выходить из положения. И существовал лишь один способ сделать это: придется фальшивить.

– Ну, путь у меня был долгим, – сказал я. – А спать в поездах я никогда не мог. Наверное, поэтому сегодня не слишком хорошо соображаю.

– Не бери в голову.

– Думаю, мне лучше поспешить на вокзал. Я и так уже на день опоздал в Девон.

– Но ты ведь не собираешься начать жить по правилам, правда?

Я улыбнулся ему.

– О нет, этого я делать не собираюсь.

И это было самой серьезной ложью, величайшей из всех.

## Глава 6

Мир и покой покинули Девон. Хотя по виду кампуса и городка этого нельзя было сказать, они еще сохраняли свою мечтательную летнюю безмятежность. Осень едва коснулась пышного великолепия деревьев, и в зените дня солнце ненадолго вновь обрело свою летнюю силу. В воздухе ощущалось лишь отдаленное веяние холода, доносящегося от дальней кромки зимы.

Но новый, энергичный ветер подхватил и понес все, как первую опавшую листву. Летний семестр – когда временные педагоги, заменявшие ушедших в отпуск постоянных наставников, пичкали знаниями несколько десятков мальчиков и когда большинство школьных традиций, словно чтобы уберечь от зноя, было убрано на склад, – этот летний семестр закончился. Такой семестр проводился в школе впервые, что же касается зимних, то нынешний был сто шестьдесят третьим в истории школы, и руководство, вновь собравшееся к его началу, разгоняло дух летнего благодушия, как ветер – осенние листья.

Во время первого богослужения в часовне наставники сидели на своих постоянных местах «в партере» – перед нами и под прямыми углами от нас, – усталым выражением лиц и непринужденностью поз словно бы демонстрируя, что они вообще никуда не отлучались.

В церковной апсиде сидели их жены и дети, во время скучных зимних месяцев являвшие собою объект наших бесконечных традиционных спекуляций (Почему он женился на ней? Что могло заставить ее выйти за него? Как эта парочка сумела произвести на свет таких маленьких чудовищ?). Наставники в этот погожий первый день предпочли костюмы из летней ткани, их жены достали свои шляпы. Пятеро учителей из самых молодых отсутствовали – ушли на войну. Мистер Пайк явился в форме; у бывшего курсанта военно-морского училища, видимо, сработал рефлекс, приведший его в этот день по старой памяти в Девонскую школу. Лицо у него было таким же мягким и, как всегда, выражало безысходность. Словно луна белея над щеголеватой, жестко накрахмаленной матроской, оно придавало ему вид самозванца.

Преимственность была основным принципом. Исполнялись одни и те же гимны, звучала одна и та же проповедь, делались одни и те же объявления. Случился лишь один сюрприз: «на определенный период» – тогда эта фраза вошла в моду – исчезли девушки-горничные. Однако

преимственность всячески подчеркивалась: не возобновление, а продолжение воспитания юношества в духе нерушимых традиций Девонской школы.

Я – быть может, я один – знал, что это неправда. Прежний Девон утек сквозь пальцы за эти недооцененные жаркие месяцы. Традиции были порушены, стандарты снижены, все правила забыты. В те ослепительные дни манкирования учебной мы никогда не думали о том, к чему нас снова призывали теперь во вступительной проповеди: «Чем Мы Обязаны Девонской Школе?» Мы думали о себе, о том, чем обязан Девон нам, и брали от него все это и гораздо больше. Для службы был выбран гимн «Дорогой Господь и Отец человечества, прости нам наши неразумные пути»<sup>[12]</sup>, которого мы не слышали ни разу за все лето. У нас в ходу была другая музыка – цыганская, вольная, которая вела нас, не прощенных, как раз неразумными путями. И я был этому рад, я почти встроился за лето в ее брэнчащий танцевальный дерзкий ритм.

Однако все это закончилось в длинных лучах заходящего солнца, там, на дереве, с которого сорвался Финеас. И теперь, пока уныло сидел на службе в часовне, я был вынужден признать: вероятно, есть все же резон в правилах Девона – зимнего Девона. Если ты ломаешь эти правила, они ломают тебя. И именно в этом, полагаю, заключался истинный смысл той первой утренней проповеди.

По окончании службы мы обычной семисотголовой толпой учащихся отправились изучать расписания своих занятий. Все классы были набиты битком, на мощеных переходах царил толчея, в спальнях корпуса шум стоял, как на фабрике, все доски объявлений обросли лесом записок.

Летом мы являли собой самочинное сборище, не управляемое ничем, если не считать эксцентричных идей Финеаса. Теперь официальные старосты и идейные лидеры классов возьмут управление на себя, полагая само собой разумеющимся свое право контролировать аллеи и поля, которые летом мы считали принадлежащими только нам. Меня поселили в ту же комнату, которую мы с Финни делили летом, а напротив, через коридор, в большом двухкомнатном апартаменте, где Чумной Лепеллье весь июль и август провел в мечтаниях и в пыли, пронизанной солнечными лучами, за окнами, через которые в комнату робко протягивал свои ветви плющ, Бринкер Хедли устроил свой штаб. Эмиссары уже шныряли туда, чтобы посоветоваться с ним. Чумного, горемычного, как и все учащиеся последнего класса, перевели в комнату, затерянную где-то в недрах старого здания, стоявшего среди деревьев по дороге к спорткомплексу.

После утренних занятий и ланча я пересек коридор, чтобы навестить

Бринкера, но, дойдя до его двери, остановился. Мне вдруг не захотелось видеть, как он заменил лотки с улитками, которых Чумной собирал все лето, своими папками. Пока не хотелось. Хотя иметь соседом напротив самого влиятельного ученика этого года было кое-чем. При иных обстоятельствах он стал бы для меня своего рода магнитом, средоточием всех волнений и влияний в классе. При иных обстоятельствах так и было бы – если бы не вмешалось лето, то цыганское бродяжье лето. А теперь Бринкеру с его уравновешенным умом и бесконечными планами нечего было предложить мне вместо пыли, заглядывающего в комнату плюща и улиток Чумного.

Я так и не пошел к нему. В любом случае я уже опаздывал к месту своего назначения. Раньше я никогда не опаздывал. А сегодня опаздывал, причем больше, чем к тому вынуждали обстоятельства. Я должен был явиться на гребную базу, находившуюся на берегу нижней реки. В Девоне две реки, они разделены маленькой дамбой. По дороге я остановился на пешеходном мостике, перекинутом через дамбу, и посмотрел вниз, на речку Девон, которая бежала мне навстречу между густыми зарослями сосен и берез.

Как всегда, когда смотрел на эту сверкающую речку, я вспомнил Финеаса. Не то дерево и несчастье, а один из его любимых трюков: Финеас, словно речной бог, в экстазе балансирует на корме каноэ, стоя на одной ноге; вздетыми вверх руками он как будто призывает воздух поддержать его, лицо его прекрасно, тело – гармония равновесия и непринужденности, мускулы идеально подогнаны один к другому, создавая образ победителя, кожа сияет после купания, тело парит между рекой и небом, словно оно преодолело силы земного тяготения, и стоит Финеасу чуть-чуть оттолкнуться ногой – он легко поднимется в воздух и зависнет в пространстве, окруженный ореолом летнего великолепия природы и устремленный к небу.

Но вот каноэ едва заметно вздрагивает, тело словно ломается пополам, вздетые руки падают, нога произвольно взлетает вверх, и Финеас с оглушительным боевым кличем обрушивается в воду.

Я задержался посреди этого быстро катящегося к закату дня, чтобы вспомнить Финни именно таким, а потом, чувствуя себя освеженным, пошел дальше, к гребной базе на берегу тускло мерцающей под дамбой реки.

Летом мы никогда не ходили на эту, нижнюю реку – Нагуамсет. Она была уродливой, засоленной, с заболоченными берегами и илистым дном, сплошь покрытым водорослями. Несколькими милями дальше она

соединялась с океаном, поэтому происходившие в ней процессы зависели от неких невообразимых факторов вроде Гольфстрима, полярных льдов и фаз Луны. Совсем иное дело – пресноводный Девон, текущий по другую сторону дамбы, там мы весело проводили время все лето. Русло Девона определяли хорошо знакомые холмы, удаленные от моря, оно начиналось среди горных ферм и лесов, а в конце пролегало через школьную территорию, за которой, весьма картинно переливаясь через дамбу небольшим водопадом, река вливалась в мутную Нагуамсет.

Девонская школа располагалась в развилке этих рек.

В сыром главном помещении базы Квакенбуш, окруженный толпой гребцов, засек меня своим темным, лишенным всякого выражения глазом сразу, как только я вошел. Квакенбуш был администратором команды, и что-то с ним было не так. Что именно – я не понимал. В круговерти зимних семестров мы никогда не соприкасались, и до меня лишь доходили неприязненные слухи о репутации Квакенбуша. Примечательно, что никто не называл его по имени – я даже не знал, как его зовут, не было у него и клички, пусть хоть даже нелестной.

– Опаздываешь, Форрестер, – сказал он уже вполне мужским голосом. Это был крепкий, мускулистый парень; возможно, его и не любили именно за то, что он повзрослел раньше нас всех.

– Да, прости, меня задержали.

– По-твоему, тебя должен ждать экипаж? – Похоже, он не понял, что это прозвучало смешно. А я понял и хмыкнул.

– Так. Если ты думаешь, что это шутка...

– Я не говорил, что это шутка.

– Мне тут нужна реальная помощь. Наша команда намерена обязательно победить на любительских соревнованиях школ Новой Англии, не будь я Клифф Квакенбуш.

Таким образом заполнив пробел в своих знаниях о Квакенбуше, я был готов приступить к исполнению обязанностей помощника старшего администратора. Официально такой должности не существовало, но при необходимости ее иногда вводили, и ничего общего с синекурой она не имела: куча работы и никаких привилегий. Обычно помощником администратора бывал ученик предпоследнего класса, у которого был шанс на следующий год самому стать администратором, унаследовав соответствующий статус и права. Помощник, уже учившийся в старшем классе, никаких перспектив не имел. И поскольку я, будучи выпускником, претендовал на столь ничтожную должность, Квакенбуш, зная обо мне не больше, чем я о нем, видимо, решил на мне отыграться.



– Бери полотенца, – скомандовал он, не глядя на меня и указывая на дверь.

– Сколько?

– Откуда я знаю? Возьми сколько-нибудь. Сколько сможешь унести. Видимо, это будет не слишком много.

Такую работу, как моя, обычно выполняли мальчики, имевшие какой-нибудь физический недостаток, потому что в спортивной жизни должны были участвовать все, а это было единственным, что могли делать инвалиды. Наверняка, пока я шел к двери, Квакенбуш смотрел мне вслед: не хромаю ли я. Но я знал, что его тусклые черные глаза мой изъян обнаружить не смогут.

В конце дня, когда мы стояли на плоту перед гребной базой, собрав использованные полотенца, он немного смягчился.

– Ты ведь никогда не занимался греблей. – Разговор он начал ни с того ни с сего, и это не было вопросом. Голос его звучал почти нарочитым басом, как будто он говорил через какую-то трубу.

– Нет, никогда.

– Я два года выступал в команде легковесов. – Он был низкорослым, но крепко сбитым, под облегающей спортивной фуфайкой угадывались крепкие мускулы. – Зимой я занимаюсь борьбой. А ты чем зимой занимаешься?

– Да не знаю, пробую работать администратором еще где-нибудь.

– Ты же в старшем классе учишься?

Он прекрасно и сам это знал.

– Ага.

– Поздновато начинать заниматься администрированием команды, нет?

– Ты считаешь?

– Конечно, черт возьми! – Он вложил в свои слова презрительную убежденность, призванную на корню заглушить во мне любые ростки самоуверенности.

– Ну это не так уж важно, – возразил я.

– Очень важно.

– Я так не думаю.

– Иди ты к свиньям, Форрестер. Кто ты такой, в конце концов, черт возьми?

Я развернулся к нему лицом, мысленно издав стон. Квакенбуш не собирался позволить мне просто автоматически выполнять для него работу. Похоже, нам предстояло сойтись в схватке. И теперь мне было легко понять почему. С первых своих шагов в Девонской школе Квакенбуш столкнулся с

неприятно, с тем, что его походя, равнодушно оскорбляли; из года в год голосуя за лидеров класса и рукоплещая им, он не снискал для себя ничего из того, о чем мечтал. Я не хотел добавлять ему унижения, я даже сочувствовал распиравшему его изнутри и постоянно задеваемому самомнению, которое он уже не в силах был сдерживать, его бешеной заносчивости, которая выплеснулась наружу теперь, при малейшем намеке на несогласие со стороны найденного наконец человека, которого он мог считать ниже себя. Я понимал, что его поведение объяснимо, и не сказанные им слова взбесили меня, а то, что он не имел никакого представления о цыганском лете, об утрате, которую я мучительно старался пережить, о полевых жаворонках, плеске реки и ветерке, несущем цветочные лепестки, что он не видел улиток Чумного и даже не слышал о хартии Суперсоюза самоубийц; он ни в чем не участвовал, ничего не знал и не чувствовал ничего из того, что знал, чувствовал и придумывал Финneas.

– Ты, Квакенбуш, понятия не имеешь о том, кто я есть. – Меня понесло, и я уже не мог остановиться: – И вообще ни о чем.

– Слушай, ты, убогий сукин сын...

Я ударил его в лицо. В первый момент я и сам не понял почему – словно и впрямь был убогим. И только потом до меня дошло: потому что был в моей жизни человек, действительно изувеченный.

Квакенбуш стиснул мне шею каким-то жестким борцовским приемом, и я порадовался тому, что не был на самом деле калекой. Я закинул руки назад, ухватил его за фуфайку, рванул, и она осталась у меня в руке. Я попытался стряхнуть его с себя, но он в это же время сделал выпад, и мы оба катапультной полетели в воду.

Купание отрезвило Квакенбуша, и он отпустил меня. Я вскарабкался обратно на плот, все еще пылая гневом.

– В следующий раз, когда захочешь назвать кого-нибудь калекой, убедись сначала, что это действительно так. – Я резко и отчетливо рубил каждое слово, чтобы все они дошли до него.

– Убирайся отсюда, Форрестер, – злобно отозвался он из воды. – Ты здесь никому не нужен. Проваливай.

Так я провел свой первый бой за Финни, первое сражение в предстоявшей долгой кампании. Пока рука моя не хрустнула, врезавшись в лицо Квакенбуша, я не мог и представить себя защитником Финни, я и теперь не предполагал, что он когда-нибудь поблагодарит меня за это. Он тоже был просто предан всему, что имело к нему отношение: своему соседу по комнате, своему общежитию, своему классу, школе, и дальше его преданность расходилась вовне широкими кругами, я даже не мог себе

представить, кого она не охватывала. Впрочем, у меня не было твердого ощущения, что я сделал это именно ради Финеаса. Я чувствовал, что сделал это скорее ради себя.

Но даже если так, особой выгоды мне это не принесло: я брел обратно к общежитию промокший до нитки, потерявший работу, которую хотел получить, утратив кураж и снова и снова перебирая в уме невеселые события этого дня. Теперь стало совершенно ясно, что пришла осень, я чувствовал, как она зловеще прижимает к телу мою мокрую одежду, ощущал недружелюбное тревожное дыхание в атмосфере, приближение зимних холодов, и свет тускнел в преддверии момента, когда все вокруг погрузится в темноту. Одна нога у меня не переставала дрожать – то ли от холода, то ли от гнева, я не мог понять. Я жалел, что не врезал Квакенбушу сильнее.

Кто-то шел мне навстречу по кривой, ломаной дороге, ведущей от общежития. Когда-то это была дорога в Лондон, по обеим сторонам вдоль нее стояли старинные дома, наклонившиеся так, будто вот-вот должны были свалиться, а брусчатка под ногами напоминала океанский шквал, закованный в камень, и по ней ко мне приближалась какая-то высоченная фигура. Это мог быть только мистер Ладсбери, никто иной не мог передвигаться по этим булыжникам походкой, настолько не соответствующей определению «легкая».

Кто населял дома вдоль этой улицы, я толком не знал; скорее всего, какие-нибудь хрупкие эфемерные старые дамы. Ни в какой из них я нырнуть не мог. Вокруг было полно углов, извилин и провалов, но ни один не был достаточным, чтобы укрыть меня. Мистер Ладсбери неясно маячил вдали, словно клипер, плывущий по штормовым волнам. Я попытался украдкой проскользнуть мимо него в своих хлюпающих спортивных туфлях.

– Одну минутку, Форрестер, пожалуйста. – Мистер Ладсбери говорил басом, с британским акцентом, и его кадык двигался при этом не менее энергично, чем губы. – В той части города, где ты был, ливень, что ли, пролился?

– Нет, сэр. Извините, сэр. Я упал в реку. – По въевшейся привычке я извинялся перед ним за неприятность, которая причинила неудобство только мне.

– Не поведает ли, как и почему ты упал в реку?

– Я поскользнулся.

– Ну да. – Он сделал паузу и продолжил: – Похоже, с прошлого учебного года ты множество раз и самыми разными способами

поскальзывался. Например, я знаю, что летом, пока ты здесь жил, в общежитии практиковались азартные игры. – Он был ответственным за общежитие, и теперь я осознал, что свобода от правил, которой мы пользовались в те дни, оказалась возможной только благодаря его отсутствию.

– Игры? Какие игры, сэр?

– Карты, кости. – Он небрежно отмахнулся длинной рукой. – Я не выпытываю. Это неважно. Но больше ничего подобного не будет.

– Я даже не знаю, кто там мог играть.

В голове у меня пронеслись воспоминания о блэк-джеке, покере и других, ранее неведомых играх, выдуманных Финеасом, в которые мы резались ночи напролет; темная комната в номере Чумного; лампа, завешенная одеялом так, что только маленький яркий круг света падает на стол в крошечной темноте; Финеас, проигрывающий даже в им же самим изобретенных играх, всегда ставящий на кон то, что якобы обязательно должно выиграть, ибо что могло принести более упоительный успех, – если бы только карты постоянно не подводили его. В конце концов он поставил на кон свой «холодильник» и проиграл это хитроумное сооружение мне.

Я вспомнил это потому, что мистер Ладсбери как раз говорил:

– И пока я навожу в общежитии прежний порядок, рекомендую тебе избавиться от своего протекающего холодильника. Ничего подобного в общежитии никогда держать не разрешалось, разумеется. Вижу, что за лето все пришло в полный упадок и что никто из вас, старых учеников, знающих наши порядки, пальцем не пошевелил, чтобы помочь мистеру Прадому их поддержать. Будучи лишь временно замещающим должностным, он не мог узнать все и сразу. А вы, старшеклассники, просто воспользовались ситуацией.

Я стоял, дрожа от холода в туфлях, полных воды. О, если бы я действительно воспользовался ситуацией, если бы сумел оценить и извлечь пользу из множества возможностей, которые открывало мне то лето! Если бы!

Я молчал, изобразив на лице печальную мину подсудимого, знающего, что суд все равно не тронет его показания, какими бы доказательствами в свою пользу он ни располагал. Это было типичное школьное выражение лица, и мистер Ладсбери прекрасно знал его.

– Тебе звонили по междугородной, – продолжил он тоном судьи, выполняющего неприятную обязанность сообщить подсудимому, что тот невиновен. – Я записал номер телефонистки в блокноте возле аппарата у себя в кабинете. Можешь зайти и позвонить.

– Большое спасибо, сэр.

Он поплыл дальше по улице, больше не обращая на меня никакого внимания, а я подумал: «Интересно, кто из домашних заболел?»

Но, дойдя до его кабинета – мрачной комнаты с низким потолком, уставленной книжными стеллажами и черными кожаными креслами, с подставкой для трубки и полом, застеленным потертым коричневым ковром, комнаты, куда ученики заходили редко, ну, разве что получить нагоняй, – я увидел, что номер в блокноте был не кодом моего родного города, а кодом, от которого у меня сердце замерло.

Я набрал его и с удивлением слушал, как телефонистка привычно устанавливает соединение, словно это был самый заурядный междугородный звонок, потом ее голос пропал на линии, и послышался голос Финеаса.

– С началом нового учебного года!

– Спасибо, большое спасибо! Ты... звучишь... я рад слышать твой...

– Кончай заикаться, это ведь я плачу за звонок. С кем тебя поселили в комнате?

– Ни с кем. Они никого больше в нашу комнату не поселили.

– Держат место для меня! Добрый старый Девон. Но ты в любом случае не позволишь им никого к тебе подселить, ведь правда?

Дружелюбие, естественно исходящая от него привязанность – это все, что я мог различить в его голосе.

– Нет, конечно, нет!

– Я так и думал. Друзья-соседи остаются друзьями-соседями. Даже если время от времени у них бывают стычки. Господи, когда ты был здесь, у тебя совсем в голове помутилось.

– Да, наверное. Наверное, совсем помутилось.

– Крыша начисто съехала. Я просто хотел убедиться, что ты пришел в себя. За тем и позвонил. Я загадал: если ты позволил поселить на мое место кого-нибудь другого, тогда ты и впрямь рехнулся. Но ты не позволил, и я знал, что не позволишь. У меня не было и тени сомнения. Ну ладно, должен признать: всего на одну секунду появилась. Ты меня за это прости, Джин. Конечно, я был совершенно не прав. Ты не позволил никому занять мое место.

– Нет, не позволил.

– За то, что я даже допустил такую мысль, мне следовало бы застрелиться. Но на самом деле я знал, что ты бы не позволил.

– Нет, не позволил бы.

– А я истратил столько денег на междугородный звонок! Совершенно

зря. Но я же заплатил и за то, чтобы тебя послушать. Так что говори, приятель. И лучше о чем-нибудь хорошем. Начни со спорта. Чем ты занимаешься?

– Греблей. Ну не то чтобы гребу. Помогаю команде. Я помощник администратора.

– Помощник администратора гребной команды?!

– Боюсь, что уже нет...

– Помощник администратора?!

– После того как я подрался с...

– Помощник администратора гребной команды?! – Никто не умел голосом так передать удивление, как Финни. – Нет, ты действительно чокнулся!

– Послушай, Финни, я вовсе не стремлюсь стать звездой школы или чем-то в этом роде.

– Что-о-о-о?! – Гораздо отчетливей, чем что бы то ни было в кабинете мистера Ладсбери, я видел в тот момент его лицо, выражавшее полное остолбенение. – Кто говорит о том, кем кто хочет стать?!

– Тогда чего ты так разошелся?

– На кой черт тебе что-то там устраивать для какой-то команды? Зачем тебе это нужно? Какое это имеет отношение к спорту?

Значит, смысл был в том, что мое занятие не имело ничего общего со спортом как таковым. А я не желал больше никакого спорта. Этот вопрос был для меня закрыт, как если бы тогда, когда доктор Стэнпоул сказал: «Со спортом покончено», он имел в виду меня. Я больше не верил ни себе, ни кому бы то ни было другому, кто занимался спортом. Теперь мне казалось, что все, кто играет в футбол, стремятся лишь выколотить жизнь друг из друга, а боксеры реально дерутся насмерть, и даже теннисный мяч способен обернуться пулей. В 1942 году это не было такой уж игрой воображения, потому что прыжки с дерева заменяли нам соскакивание с палубы торпедированного корабля. А в бассейне, на уроках плавания, мы отрабатывали второй этап этого действия: оказавшись в воде, нужно было изо всех сил колотить по ней руками, чтобы разогнать пролившееся горящее топливо.

Поэтому я сказал Финнеасу:

– У меня на спорт времени не остается, я слишком занят.

За этим последовал бессвязный поток слов и восклицаний с его стороны, и я было уже решил, что тема исчерпана, пока под конец он не сказал:

– Послушай, дружище, если я не могу заниматься спортом, ты должен

делать это за меня.

При этих словах часть меня будто отделилась и безвозвратно перешла к нему, и, ощутив состояние парящей свободы, я понял, что именно это и было моей целью с самого начала: стать частью Финеаса.

## Глава 7

Ближе к вечеру Бринкер Хедли сам пересек разделявший нас коридор и навестил меня. Я уже сходил в ванную, чтобы смыть с себя въедливую соль Нагуамсет. Исккупаться в Девоне было все равно что принять освежающий душ, после этого не было никакой нужды мыться, но Нагуамсет – совсем другое дело. Раньше я никогда в нее не окунался. Очень уместным казалось то, что я принял крещение в ней в первый день этого зимнего семестра и что влетел в нее в разгар драки.

Смыв с себя следы Нагуамсет, я надел шоколадно-коричневые слаксы, те самые, о которых Финеас отзывался особенно критично, когда не носил их сам, и голубую фланелевую рубашку. Затем, поскольку до урока французского, назначенного на пять часов, делать было нечего, начал прокручивать в голове вопрос о спорте.

Но тут вошел Бринкер. Думаю, он поставил себе целью в первый же день обойти все комнаты, располагавшиеся поблизости от его жилища.

– Ну, Джин... – Его сияющая физиономия появилась из-за приоткрытой двери. Бринкер выглядел типичным продуктом частной школы в своем сером габардиновом пиджаке с как будто вручную пришитыми квадратными накладными карманами, в консервативном галстуке и темно-коричневых кордовских туфлях. Все его лицо – брови, рот, нос и так далее – состояло из прямых линий, и свое шестифутовое туловище он тоже нес исключительно прямо. Он был похож на спортсмена, но, кстати, отнюдь не являлся им, поскольку был слишком занят политикой и организационными обязанностями. Ничто в Бринкере не вызывало антипатии, пока ты не видел его со спины; я это наблюдал, когда он повернулся, чтобы закрыть за собой дверь. Фалды его габардинового пиджака слегка расходились над мощным крестцом, и именно это, как я вспомнил безо всякой насмешки, было характерной особенностью Бринкера: его крепкие, четко очерченные, не чрезмерно большие, но очень крутые по форме и плотные ягодицы.

– ...вот, значит, как ты наслаждаешься тут своим славным одиночеством, – добродушно продолжил он. – Вижу, ты пользуешься немалым влиянием. Такая большая комната – и вся тебе одному. Хотел бы я уметь устраиваться как ты. – Он откровенно ухмыльнулся, плюхнулся на мою койку и вольготно откинулся назад, опершись на локти, – как дома.

Бринкеру Хедли, первому номеру в классе, не к лицу было признавать



мою влияние. Я хотел было возразить, что хоть он и делит жилье с соседом, но это лишь всего боящийся Брауни Перкинс, который никогда в жизни никоим образом не покусится на комфорт Бринкера, и что у них-то две комнаты, причем в передней даже есть камин. Но ничего подобного я ему не высказал. Несмотря на положение, которое он занял в нынешнем зимнем семестре, Бринкер мне нравился, он вообще нравился почти всем.

Однако не успел я ему что-либо ответить, как он снова заговорил своим беззаботным тоном. Если только была возможность не дать разговору принять унылый оборот, он ее никогда не упускал.

– Пари держу: ты с самого начала знал, что Финни не вернется в школу этой осенью. Поэтому и выбрал его в соседи по комнате, так?

– Что? – Я молниеносно развернулся на стуле, отодвинулся от стола и оказался лицом к лицу с Бринкером. – Нет, конечно же, нет. Как я мог предвидеть такое развитие событий?

Бринкер скользнул взглядом по моему лицу.

– Да ты же сам это и устроил. – Он широко улыбнулся. – Ты все знал наперед. Спорим, это все твоих рук дело?

– Не будь идиотом, Бринкер. – Я снова развернулся к столу и начал суетливо, безо всякой цели переключать книги. – Что за бред ты несешь? – Даже для моих собственных ушей, в которых громко пульсировала кровь, мой голос звучал слишком уж натянуто.

– Аа-а-а! Правда глаза колет, да?

Я посмотрел на него со всей язвительностью, какую способен выразить человеческий взгляд. Он принял вид обвинителя.

– Ну конечно! – Я издал короткий смешок. – Кто б сомневался. – Следующие слова вырвались у меня сами собой: – Правда всегда наружу выйдет.

Его рука свинцовой тяжестью легла мне на плечо.

– В этом можешь не сомневаться, сын мой. При нашей свободной демократии, даже если приходится драться за нее, правда выйдет наружу всегда.

Я встал.

– Курить хочется. Не составишь компанию? Пойдем в курилку.

– Да-да. С тобой – хоть в темницу.

Комната для курения и впрямь была похожа на темницу. Она находилась в подвале, можно сказать, во чреве общежития. Там уже собралось человек десять курильщиков. В Девоне у каждого было много лиц для предъявления публике; в классе вид у нас был если не ученый, то по крайней мере приличествующе внимательный; на игровых площадках

мы выглядели невинными экстравертами; а в курилке очень напоминали преступников. Чтобы отвлечь нас от курения, школа придавала этим комнатам как можно более гнетущий вид. Окна находились под самым потолком и были маленькими и грязными, из кожаной обивки мебели торчали внутренности, столы были изуродованными, стены – пепельного цвета, а полы – цементными. Из радиоприемника с неустойчивой связью сквозь треск несло что-нибудь очень громкое, а потом вдруг обрывалось зловещей тишиной.

– Джентльмены, вот вам подсудимый, – объявил Бринкер, хватая меня за шею и вталкивая перед собой в курилку. – Передаю его в ваши компетентные органы.

В густом дыму в курилке все сразу оживились. Фигура, ссутулившаяся возле радиоприемника, из которого в этот момент как раз неслись громкие хриплые звуки музыки, наконец распрямилась и произнесла:

– В чем обвиняется?

– В том, что избавился от соседа по комнате, чтобы стать ее полноправным хозяином. То есть – в гнусном предательстве. – Бринкер многозначительно помолчал. – Практически в братоубийстве.

Дернув плечом, я сбросил его руку и процедил сквозь зубы:

– Бринкер...

Он остановил меня, предостерегающе подняв руку:

– Ни слова! Ни звука! Вам еще будет предоставлена возможность высказаться в свое оправдание.

– Черт тебя дери! Заткнись! Ты совершенно не знаешь меры в своих шутках.

Это было ошибкой; радио вдруг замолчало, и мой голос, громко прозвучавший во внезапно наступившей тишине, вызвал у всех возбуждение.

– Значит, ты убил его, да? – Какой-то парень, с трудом распрямившись, встал с дивана.

– Ну... – рассудительно произнес Бринкер, – не то чтобы убил. Финни балансирует между жизнью и смертью дома, под присмотром скорбящей старушки матери.

Мне нужно было как-то вмешаться, иначе я рисковал полностью утратить контроль над ситуацией.

– Я не совершил абсолютно ничего дурного, – начал я как можно более непринужденно. – Я... единственное, что я сделал, – это... подсыпал щепотку мышьяка в его утренний кофе.

– Лжец! – зарычал на меня Бринкер. – Пытаешься выкрутиться с

помощью ложного признания, да?

На это я коротко хихикнул, что вышло непроизвольно.

– Нам известны истинные обстоятельства преступления, – продолжал тем временем Бринкер. – Там, наверху, на этом... погребальном дереве у реки, не было никакого яда и вообще ничего коварного.

– А-а, вам известно про дерево. – Я попытался с притворным чувством вины покорно склонить голову, но получилось так, словно кто-то прижал ее вниз. – Да, гм, да, там, на дереве, случилось небольшое *contretemps*<sup>[13]</sup>.

Моя уловка – смешно исковеркать французское произношение, чтобы переключить внимание, – цели не достигла.

– Расскажи нам все, – хрипло потребовал самый младший мальчик, сидевший за столом. Был в его голосе какой-то тревожный призыв, какая-то непритворно заговорщицкая нотка, словно он искренне верил буквально всему, что тут говорилось. Такое отношение показалось мне почти оскорбительным, как будто человек, прознавший про твой интимный секрет, обещает не сказать никому ни слова, если ты поведаешь ему все в мельчайших подробностях.

– Ну, – ответил я более уверенным голосом, – сначала я украл все его деньги. Затем обнаружил, что он смухлевал при поступлении в Девон, и стал шантажировать его родителей, а потом я... – Все шло хорошо, кое-кто заулыбался, даже тот, младшекласник, похоже, вдруг понял, что воспринимать шутку всерьез в Девоне считается большой ошибкой. – Потом я... – Мне осталось лишь добавить «столкнул его с дерева» – и цепь неправдоподобных событий замкнулась бы в комическое кольцо, всего несколько слов – и, вероятно, этот кошмар в темнице закончился бы.

Но я почувствовал, как у меня перехватило горло, и так и не смог произнести эти слова.

Я развернулся к младшекласнику.

– Что я тогда сделал? – потребовал я от него ответа. – Держу пари, у тебя полно предположений на этот счет. Ну, давай, восстанови картину преступления. Вот мы стоим на дереве. И что случилось потом, Шерлок Холмс?

Его глаза виновато бегали из стороны в сторону.

– Спорим, потом ты его просто столкнул.

– Слабовата версия, – сказал я небрежно, плюхаясь на стул, словно утратил всякий интерес к игре. – Ты проиграл. Ты не Шерлок Холмс, ты – доктор Ватсон.

Все посмеялись над младшим товарищем, а тот смущенно заерзал, и вид у него сделался еще более виноватым. Среди завсегдатаев курилки

позиции его были очень слабы, да и с тех я его с легкостью сбросил. Со дна своего поражения он зыркнул на меня, и я к своему удивлению понял, что, посмеявшись над ним, навлек на себя его откровенную ненависть. Но я был рад заплатить такую цену за свое избавление.

– Французский, французский! – воскликнул я. – Хватит этих *contretemps*. Я должен идти учить французский. – И удалился.

Когда я поднимался по лестнице, до меня донесся голос из курилки:

– Забавно, он притащился сюда из самого общежития и не выкурил ни одной сигареты.

Но и об этой странности все вскоре забыли. Я не выявил среди них ни Шерлока Холмса, ни даже доктора Ватсона. Ни у кого не возникло желания преследовать меня, никто ничего не выпытывал, не строил никаких догадок. Ежедневные списки поручений становились все длиннее по мере того, как длиннее становились лучи угасающего осеннего солнца, пока к середине октября и лето, и первый день учебы, и даже каждый вчерашний день не стали уходить в прошлое и забываться, поскольку день завтрашний всегда изобиловал массой новых дел.

Кроме уроков, спортивных и клубных занятий у нас была еще и война. Бринкер Хедли мог, конечно, если ему так хотелось, сочинить самое короткое в мире стихотворение о войне:

*Война  
Скучна,*

но всем нам приходилось теперь более деятельно работать на нее. Прежде всего местный урожай яблок оказался под угрозой гниения, потому что все сборщики ушли в армию или работали на военных заводах. В течение нескольких солнечных дней мы собирали плоды, за что нам платили наличными. Это вдохновило Бринкера на «Оду яблоку»:

*Наша страда –  
Три кита  
Ратного труда.*

Новизна занятия и деньги приводили нас в возбуждение. Жизнь Девона все еще была очень близка к мирной; война в худшем случае

казалась «скучна», по представлению Бринкера, и от нас не требовалось никаких иных повинностей, кроме дня, проведенного во фруктовом саду.

Вскоре после этого, рано даже для Нью-Гемпшира, выпал снег. Произошло это очень эффектно: однажды поздним утром я поднял голову от стола и в прямоугольнике окна увидел, как крупные хлопья, кружась, опускаются на аккуратно подстриженный кустарник, обрамлявший дорожки, на три вяза, все еще сохранявшие большую часть листвы, на еще зеленые лужайки. С каждой минутой они увеличивали толщину снежного покрова, словно безмолвное войско спокойно, без шума и суеты, завоевывало окружающее пространство. Я наблюдал, как снежные хлопья летели мимо моего окна, их игривый полет как будто говорил: не воспринимай нас всерьез, этот ранний снегопад – лишь безобидный фокус.

И оказалось, что так оно и есть. В ту ночь школа укрылась тонким белым покрывалом, но следующее утро было ярким, почти ласковым, и все до последней снежинки растаяло. В выходные, тем не менее, снег пошел снова, еще два дня спустя он усилился, и к концу недели землю уже на всю зиму укутал снежный покров.

Так же и война, начавшись для нас почти комически, с объявления о горничных и сборе яблок, продолжилась постепенным вторжением в недра школы. Ранний снег был рекрутирован ею как авангард наступления.

Чумной Лепеллье ничего подобного и не подозревал. По правде говоря, сначала этого никому не было видно. Просто для меня Чумной всегда был человеком, которого чаще других можно было застать врасплох и который более эмоционально реагировал на эту и любые другие перемены в нашей девонской жизни.

Снежные заносы парализовали работу сортировочных станций в одном из крупных городов к югу от нас, одну – на линии, соединяющей нас с Бостоном, другую – с Мэном. На следующий день после самого сильного снегопада, чтобы откопать их, двести человек добровольцев согласились провести день с лопатами в руках – согласно Программе чрезвычайной помощи, которую преподавательский состав школы принял минувшей осенью. За это тоже платили. Поэтому все мы вызвались добровольцами: Бринкер, я, Чет Дагласс и даже Квакенбуш.

Но не Чумной. Обычно во время службы в часовне он занимался тем, что делал на последней странице тетради маленькие наброски птиц и деревьев, так что, скорее всего, и не слышал объявления. Поезд, который должен был доставить нас до места работы, прибывал лишь после ланча, и по дороге на станцию, срезая путь через луг неподалеку от реки, я повстречал Чумного. Всю осень мы с ним почти не виделись, и теперь я с

трудом его узнал. Он неподвижно стоял на гребне небольшой возвышенности и издали напоминал огородное пугало, оставшееся там с лета. Пробираясь сквозь снег, я постепенно начинал различать предметы его одежды: тускло-зеленую охотничью шляпу из войлока, коричневые защитные наушники, толстый серый шерстяной шарф – и лишь потом среди всего этого узнал лицо Чумного, заострившееся и красное. Его глаза через очки в стальной оправе с интересом всматривались в дальний лес. Подойдя ближе, я заметил, что под длинным коричневым брезентовым плащом с отвисшими карманами, под бриджами в красно-черную клетку и зелеными обмотками у него на ногах лыжи. Они были очень длинными, деревянными, облезлыми, со старомодными декоративными креплениями.

– Как ты думаешь, есть тропа, которая идет через этот лес? – спросил он своим мягким нерешительным голосом, когда я подошел ближе. Чумной не умел легко переключаться с одной мысли на другую, и даже при том, что мы были старыми друзьями, не видевшимися несколько месяцев, я ничего не имел против того, что он воспринял как должное столь невероятную встречу посреди широкого снежного поля.

– Не знаю точно, Чумной, но думаю, у подножия склона дорога есть.

– Ну да, наверное.

Мы всегда в лицо называли его Чумным; он и не припоминал, что когда-то откликнулся на какое-нибудь другое имя.

Я не мог заставить себя не пялиться на него, на его карикатурный образ путешественника-первопроходца.

– Что ты... – решился я наконец спросить, – гм, что ты подельываешь, чем занимаешься?

– Я путешествую.

– Путешествуешь? – Я осмотрел длинные бамбуковые лыжные палки, на которые он опирался. – Что ты имеешь в виду под этим «путешествую»?

– Просто путешествую. Так изучают местность зимой. Путешествуя на лыжах. А как еще ходить по снегу?

– И куда ты направляешься?

– Да никуда я не направляюсь. – Он наклонился, чтобы закрепить завязку на обмотке. – Просто брожу по окрестностям.

– На той стороне реки есть место, где можно кататься на лыжах. Оттуда к вершине холма, что напротив железнодорожной станции, протянут бугельный подъемник: держишься за трос – и тебя тащат вверх. Можешь пойти туда.

– Нет, не думаю. – Он снова принялся обозревать лес, хотя очки у него запотели от теплого дыхания. – Какое это катание?

– А что, по-моему, прекрасное. Отличный короткий спуск, а потом быстрый подъем.

– Да, но в этом-то и дело: катание на лыжах не должно быть быстрым. Лыжи предназначены для того, чтобы путешествовать по окрестностям с пользой. – Он впери́л в меня пытли́вый взгляд. – А на том склоне и ногу сломать недолго.

– Да брось, он же совсем пологий.

– Все равно. Идея как таковая неправильна. У нас в стране исковеркано само понятие катания на лыжах: бугельные подъемники, кресельные подъемники и все такое прочее. Тебя везут наверх, а оттуда ты – вжик! – мчишься вниз, не видя даже деревьев вокруг, ничего вообще. То есть мимо тебя проносится куча деревьев, но ты их, в сущности, не видишь, не различаешь отдельного дерева. А мне нравится ехать медленно, разглядывать то, мимо чего я еду, и получать от этого удовольствие. – Он завершил свою мысль и теперь стал медленно переключать внимание на меня, рассматривая старые одежды, надетые на мне одна на другую. – Ладно, а ты-то что делаешь? – спросил он с умеренным любопытством.

– Еду работать на сортировочную станцию. – Он продолжал смотреть на меня с тем же умеренным любопытством. – Расчищать рельсы от снега. Об этом говорили сегодня во время службы в часовне, помнишь?

– Ну, желаю приятно провести время, – сказал он.

– Постараюсь. Тебе тоже хорошего дня.

– Он будет хорошим, если я найду то, что ищу, – бобровую плотину. Раньше она была где-то там, вверх по течению Девона. Интересно посмотреть, как бобры приспособляются к зиме. Ты когда-нибудь видел?

– Нет, никогда.

– Ну если я найду это место, может, ты тоже захочешь посмотреть.

– Да, скажи мне, если найдешь.

Общение с Чумным всегда было борьбой для семнадцатилетнего мальчишки, живущего в замкнутом мирке школы, где царит вечная конкуренция, борьбой с самим собой, чтобы не начать потешаться над ним. Но по мере того как я лучше узнавал его, победить это желание мне становилось все легче.

Взмахнув длинными бамбуковыми палками, он неспешно оттолкнулся и медленно заскользил вперед по невысокому плавному спуску; он держался очень прямо, широко ставил лыжи, чтобы не потерять равновесия, и втыкал палки в снег, как будто возводил ограду с обеих сторон, чтобы исключить всякое вторжение.

Я развернулся и побрел помогать откапывать из-под снега нашу Новую

Англию для военных нужд.

Мы провели странный день, вкалывая на сортировочной станции. К тому времени, когда мы туда прибыли, снег стал серым от сажи, мокрым и тяжелым. Нас разделили на бригады, каждой руководил кто-нибудь из старых железнодорожников. Мы с Бринкером и Четом оказались в одной бригаде, но веселой атмосферой яблоневого сада тут и не пахло. Единственное, что мы видели вокруг, – это унылые краснокирпичные здания депо и складов, окружающие сортировочный двор, и мы с трудом откапывали то, что руководивший нами железнодорожник называл «подвижным составом», – мрачные товарные вагоны, прибывшие с разных концов страны и застрявшие здесь в снегу. Бринкер спросил старика, не уместнее ли теперь называть их «неподвижным составом», но тот, посмотрев на него со смутной неприязнью, не ответил. Ничего забавного в тот день не случилось, работа была тяжелой и однообразной; я начал потеть под многочисленными слоями одежды. К середине дня мы утратили свой задорный волонтерский вид и, покрывшись сажей, вымотавшись от тяжелого физического труда, казались неотъемлемой частью этого депо и этих складов. Железнодорожника мы раздражали, вернее, нервировали, а может, он просто плохо себя чувствовал, потому что и выглядел нездоровым. Он ворчал по любому поводу, все время сплевывал и в промежутках между приказными рыками гладил свой огромный, явно болевший живот.

Около половины пятого настал момент торжества. Главный путь был расчищен, и первый состав медленно загрохотал по нему. Мы смотрели, как он надвигается на нас, выбрасывая из трубы клубы пара, еще больше сгуцавшие общую пасмурность.

Выстроившись в шеренги с обеих сторон пути, мы приготовились приветствовать машиниста и пассажиров. Окна во всех купе были открыты, и пассажиры висели в них гроздьями; все они были мужчинами, насколько я разобрал, все – молодыми, и все – похожими друг на друга. Это был воинский эшелон.

Перекрикивая лязг колес и сцеплений, мы вопили им что-то ободряющее, и они так же громко отвечали нам; и мы, и они оказались застигнуты врасплох. Ребята были не намного старше нас, но хотя их, видимо, только-только призывали, нам они, проплывающие мимо закопченных шеренг, представлялись отборными армейскими частями. Казалось, что они наслаждаются жизнью, их форма была новенькой, с иголочки; они выглядели чистенькими, бодрыми, и их наверняка ждало захватывающее будущее.



Когда поезд скрылся из виду, мы, трудяги, глядя друг на друга через только что расчищенный путь, ощутили какую-то пустоту, и даже Бринкеру не пришло в голову никакой уместной шутки. Старый железнодорожник велел нам разойтись по другим участкам двора, но в тот день мы больше ничего особо полезного не сделали. Скученные на этом сортировочном узле, в то время как весь мир устремляется совсем в иные места, мы казались себе всего лишь детьми, играющими в игры меж настоящих героев.

Наконец день закончился. Изначально серый, к концу он посерел еще больше: небо, снег, лица, душевное состояние – все стало темно-серым. Мы снова погрузились в старые, удручающие, тускло освещенные вагоны, ожидавшие нас, повалились на неудобные зеленые сиденья, и никто не произнес ни слова, пока мы не отъехали на несколько миль.

Когда же молчание было нарушено, то все разговоры вертелись вокруг программ летной подготовки, армейского братства, требований к призывникам, тщеты девонской жизни и того, что у нас не будет военных историй, которые можно было бы рассказывать внукам; мы строили предположения о том, сколько может продлиться война, и возмущались тому, что в такое время приходится изучать мертвые языки.

А вот Квакенбуш, воспользовавшись паузой в разговоре, объявил, что точно останется в Девоне до конца этого года, какие бы необдуманные поступки ни совершали другие, полоумные. Не встречая поддержки, он, тем не менее, распространялся о преимуществах программы физического закалывания Девонской школы и обладания ее аттестатом, о том, что базовое образование следует получать в положенное время и что лично он намерен пройти шаг за шагом весь путь до поступления в армию.

– Лично ты, – презрительно передразнил его кто-то.

– Да уж, ты у нас такой один, – добавил другой.

– А в какую армию ты намылился, Квакенбуш? К Муссолини?

– Не-е, он же краут<sup>[14]</sup>.

– Он – краутский шпион.

– Сколько взрывчатки ты сегодня заложил под рельсы, Квакенбуш?

– А я думал, что всех Квакенбушей интернировали после Перл-Харбора.

На это Бринкер заметил:

– Его не нашли. Он спрятался под кустом и перестал квакать<sup>[15]</sup>.

К концу дня мы все изнемогали от усталости.

Возвращаясь с вокзала в школу в сгущающихся сумерках, мы нагнали

долговязую фигуру, скользившую вдоль улицы по заснеженной обочине.

– Вы только посмотрите на Лепеллье, – раздраженно начал Бринкер. – Что он о себе возомнил? Что он снежный человек?

– Он просто катался на лыжах по окрестностям, – перебил его я. Мне не хотелось, чтобы все нервное напряжение сегодняшнего дня обрушилось на Чумного. – Ну как, нашел плотину? – спросил я его, когда мы поравнялись.

Он медленно повернул голову, не останавливаясь, продолжая поочередно отталкиваться то одной, то другой палкой и продвигая вперед то одну лыжу, то другую, работая ритмично, но слабо, без размаха, как самодельный маломощный поршневого двигателя.

– А ты знаешь, да, нашел. – Он расплылся в улыбке, словно бы предназначавшейся не одному мне, но всем, кто готов был разделить с ним эту радость. – И на нее действительно интересно было посмотреть. Я сделал несколько снимков. Если они получились, я принесу и покажу их тебе.

– Что за плотина? – поинтересовался у меня Бринкер.

– Это... ну, маленькая плотина, которую он когда-то видел, она находится выше по реке.

– Я не знаю никакой плотины на реке.

– Ну она стоит не на самом Девоне, а на одном из... притоков.

– Притоки?! У Девона?

– Да так, знаешь, маленький ручеек.

Он в недоумении сдвинул брови.

– И что представляет собой эта плотина?

– Ну-у... – Полуправдой его все равно с толку было не сбить, поэтому я признался: – Это бобровая плотина.

Под тяжестью этой новости у Бринкера опустились плечи.

– Вот где нужно прятаться, когда в мире идет война. В школе для фотографов, снимающих бобровые плотины.

– А сам бобр так и не показался, – вставил Чумной.

Бринкер не спеша повернулся к нему и издевательски воскликнул:

– Что ты говоришь?!

– Ага. Наверное, я подбирался неуклюже, он услышал и испугался.

– Ну что ж. – Нарочито сочувственный тон Бринкера подразумевал величайшую иронию. – Ничего не поделаешь.

– Да, – согласился Чумной после задумчивой паузы. – Ничего не поделаешь.

– Ничего не поделаешь: мы пришли, – сказал я, подталкивая Бринкера

за угол, куда сворачивала дорожка, ведущая к его спальному корпусу. – Пока, Чумной. Я рад, что ты ее отыскал.

– А как у вас день прошел? – крикнул он нам вслед. – Как потрудились?

– Как олени во время гона, – рявкнул в ответ Бринкер. – Это была сплошная зимняя сказка. – И процедил через уголок губ, только для меня: – Здесь все если не уклоняющиеся от службы крауты, так... – презрительная нотка в его голосе превратила следующее слово в ругательство: – на-ту-ра-листы! – Он взволнованно схватил меня за руку: – Все, с меня хватит. Записываюсь в армию. Завтра же.

При этих его словах я страшно возбудился. Это стало логической кульминацией неудачного дня и всего расхлябанного девонского семестра. Наверное, я уже давно ждал, чтобы кто-нибудь произнес их и заставил меня самого задуматься о решительном шаге.

Завербоваться. С грохотом закрыть за собой дверь в прошлое, сменить кожу, сломать весь былой образ жизни – тот сложный ее узор, который я плел с самого рождения, со всеми его темными нитями, необъяснимыми символами на традиционном фоне – домашнем белом и школьном голубом, – со всеми этими жилами, сплетение которых требует ловкости виртуоза, чтобы не оборвать канат, привязывающий тебя к прошлому. Я жаждал взять гигантские военные ножницы и разрезать его: чик! – и миг в руках у меня не останется ничего, кроме катушки ниток цвета хаки, из которых, как бы туго ни были они скручены, можно сплести только простое гладкое одноцветное полотно.

Не то чтобы будущая жизнь казалась прекрасной. Война смертельно опасна, кто спорит. Но нечто смертельное всегда таилось во всем, что меня привлекало, чего мне хотелось, во всем, что я любил. А если ничего такого не было, как, например, в отношениях с Финеасом, я сам привносил это.

Но на войне даже вопрос подобный не вставал: там смертельная опасность всегда была рядом.

Я расстался с Бринкером во дворе, он не возвращался в общежитие, поскольку обязан был присутствовать на собрании в одном из своих клубов.

– Я должен сегодня вечером председательствовать на собрании дискуссионного клуба «Золотое руно», – сказал он с презрительным видом и повторил, словно недоумевая: – Дискуссионный клуб «Золотое руно»! Мы все здесь походили с ума, все! – Он зашагал прочь, бормоча себе под нос что-то бессвязное.

То была ночь, словно бы специально предназначенная для тяжких

раздумий. Отдельные яркие звезды пронзали черноту неба, не скопления их, не созвездия, не Млечный Путь, как бывает на Юге, а одиночные точки холодного света, такие же далекие от романтики, как лезвие ножа. Они царили над Девонем, безмолвным оккупантом мягкого снега; холодные звезды-янки властвовали над этой ночью. Они не пробуждали во мне мыслей о Боге, или о матросской службе, или о великой любви, как это делало звездное небо там, дома. Здесь, в блеске этих холодных игл, я думал о решении, которое мне предстояло принять.

Зачем изображать из себя прилежного ученика, наблюдая, как война медленно пожирает то единственное, что я любил во всем этом, – мир и покой, неизмеримый беспечный покой девонского лета? Другие, всякие там квакенбуши, могли хладнокровно наблюдать, как война приближается, и впрыгнуть в нее в последний, самый благоприятный момент, как при игре на фондовой бирже. Я так не мог.

Никто, кроме меня самого, не мог меня остановить. Отринув слабые отговорки насчет того, Чем Я Обязан Девону, насчет моего долга перед родителями и всего прочего, стоя под этим безучастным ночным небом, я думал о своих обязательствах и понимал, что никому ничего не должен. Только перед самим собой было у меня обязательство принять этот вызов тогда, когда я сам решусь, и теперь момент настал.

Я живо взбежал по лестнице общежития. Быть может, потому, что перед моим мысленным взором все еще стоял образ ярких ночных звезд, этих одиночных световых стрел, пронзающих тьму, быть может, именно поэтому теплый желтый свет, струившийся из-под двери моей комнаты, поверг меня в шок. Тот случай, когда видишь то, чего совершенно не ожидал. Свет в комнате не должен был гореть. Но он, словно живой, тонкой желтой полоской струился из-под двери, высвечивая пыль и трещины пола в коридоре.

Схватившись за ручку, я распахнул дверь. Он сидел на моем стуле перед столом и, наклонившись, пытался пристроить под ним громоздкое сооружение, охватывавшее ногу, так что над столом виднелись лишь знакомые, тесно прижатые к черепу уши и коротко остриженные каштановые волосы. Он поднял голову и вызывающе ухмыльнулся.

– Привет, дружище! А где же духовой оркестр?

Все события дня растаяли, как первый ненадежный зимний снег. Финеас вернулся.

## Глава 8

– Вижу, тебя ни на миг нельзя оставить без присмотра, – продолжил Финеас, прежде чем я успел оправиться от шока. – Где ты откопал эти вещи?! – Его презрительно-насмешливый взгляд скользнул от моей потрепанной серой шапки, затрапезного свитера и заляпанных краской штанов к обшарпанным грубым башмакам. – Тебе на черта не сдалась такая реклама, и так всем известно, что в классе ты одеваешься хуже всех.

– Просто я был на работе. Это рабочая одежда.

– В котельной, что ли?

– На железной дороге. Мы ее расчищали от снега.

Он откинулся на спинку стула.

– Расчищали пути от снега? Ну что ж, дело хорошее, мы всегда этим занимались в первом семестре.

Я стащил с себя свитер, под ним у меня была непромокаемая куртка, в которой я раньше ходил под парусом – этакая свободная рубаха из прорезиненной ткани. Финеас осматривал ее с безмолвным интересом.

– Мне нравится фасон, – наконец пробормотал он. Я стащил и куртку, под ней была полевая армейская рубашка, которую подарил мне брат. – Очень актуально, – процедил сквозь зубы Финеас. Оставалась только моя пропотевшая насквозь нижняя рубашка. Финни полюбовался ею с улыбкой, а потом сказал, с усилием поднимаясь со стула: – Вот. В ней и ходи всегда. Это вещь, сделанная со вкусом. Остальная твоя одежда – дурацкие финтифлюшки.

– Рад, что она тебе нравится.

– Пустяки, – ответил он неопределенно и потянулся к костылям, прислоненным к столу.

Они были мне знакомы, Финни ходил на них в начале года, когда сломал лодыжку, играя в футбол. В Девоне костыли были таким же распространенным свидетельством спортивных травм, как плечевая лангетка. Но я никогда не видел инвалида с такой сияющей здоровой кожей, подчеркивавшей ясность глаз, или управляющегося с костылями словно с параллельными брусьями, как будто при желании он мог бы выполнить на них сальто. Финеас через всю комнату допрыгал до своей койки, сдернул с нее покрывало и застонал:

– О господи, она же не застелена. Что за дерьмо – обходиться без горничных?

– Горничных больше нет, – сказал я. – В конце концов, война. И это не такая уж большая жертва, если вспомнить о людях, которые умирают с голоду, подвергаются бомбежкам и испытывают многие другие лишения. – Мой альтруизм был абсолютно созвучен настроениям 1942 года. Но несколько прошедших месяцев мы с Финеасом провели врозь, и теперь я чувствовал некоторое недовольство с его стороны моими разглагольствованиями о необходимости в военное время отказаться от излишеств. – В конце концов, – повторил я, – война все же.

– В самом деле? – рассеянно пробормотал он. Я не обратил на это никакого внимания, он всегда продолжал разговаривать, мысленно пребывая где-то в другом месте: задавал риторические вопросы или повторял последние услышанные слова.

Я нашел какие-то простыни и постелил ему постель. Его вовсе не смутила моя помощь, он ничуть не походил на инвалида, отчаянно старающегося казаться самостоятельным. И об этом я тоже подумал, когда в ту ночь, лежа в постели, молился впервые за долгое время. Теперь, когда Финеас вернулся, пора было снова начинать это делать.

После того как был погашен свет, он по особому характеру тишины догадался, что я читаю молитву, и минуты три хранил молчание. А потом снова заговорил; он никогда не засыпал, не наговорившись, и всегда считал, что молитва, длящаяся больше трех минут, – не что иное как показуха. Во вселенной Финеаса Бог был готов в любое время выслушать каждого. А если кто-то не сумел за три минуты донести до него свое послание, как это иногда случалось со мной, когда я хотел произвести впечатление на Финеаса своей набожностью, так это означало лишь, что он плохо старался.

Финни все еще продолжал говорить, когда я заснул, а на следующее утро он разбудил меня криком негодования, донесшимся до меня сквозь ледяной воздух, проникший в комнату через приоткрытое на дюйм окно:

– Да что ж за дерьмо такое – обходиться без горничных!

Он сидел в кровати, словно был готов вот-вот выпрыгнуть из нее, совершенно проснувшийся и бодрый. Я не удержался от смеха, глядя, как возмущенный спортсмен, силы которого хватало бы на пятерых, сидит и жалуется на обслуживание. Откинув одеяло, он сказал:

– Дай мне, пожалуйста, костыли.

До сих пор, несмотря ни на что, я приветствовал каждый новый день, словно он был новой жизнью, из которой стерты все прошлые ошибки и проблемы, а открывающиеся возможности и радости, напротив, могут быть обретены, вероятно, еще до наступления вечера. Теперь же, этой зимой, с

ее снегами, с Финеасом на костылях, я начал сознавать, что каждым утром существование проблем лишь подтверждается, что сон ничего не исправил и что невозможно изменить себя за короткий промежуток между закатом и рассветом. Однако Финеас в это не верил. Наверняка каждое утро он первым делом смотрел на свою ногу: не восстановилась ли она полностью, пока он спал, не стала ли такой, как была. А обнаружив в первое утро по возвращении в Девон, что она все еще искалечена и в гипсе, сказал своим обычным невозмутимым тоном: «Дай мне, пожалуйста, костыли».

Бринкер Хедли в комнате напротив всегда просыпался строго по расписанию, как железнодорожный экспресс. Сквозь двери слышно было, как он садится в кровати, хрипло кашляет, быстро шлепает босыми ногами по холодному полу к шкафу, чтобы что-нибудь надеть, а потом громко топает в ванную. Сегодня, однако, он отклонился от заданного курса и вломился в нашу комнату.

– Ну, готов записаться? – крикнул он, не успев войти. – Ты готов завер... Финни!

– «Ты готов...» – к чему? – откликнулся из кровати Финни. – Кто готов записаться и куда?

– Финни! Господи, ты вернулся!

– Конечно, – подтвердил Финни с едва заметной довольной улыбкой.

– Значит, твой маленький план до конца не удался. – Эти слова Бринкер процедил в мою сторону вполголоса, скривив губы.

– О чем это он говорит? – спросил Финни, когда я пристраивал костыли ему под мышки.

– Да просто болтает, – коротко ответил я. – Он же вечно болтает.

– Ты отлично знаешь, о чем я говорю, – сказал Бринкер.

– Нет, не знаю.

– Знаешь!

– Ты будешь мне говорить, что я знаю, а чего не знаю?

– Да, черт возьми!

– Так о чем же он говорит? – переспросил Финни.

В комнате было жутко холодно. Я стоял перед Финеасом, дрожа и все еще не отпуская костылей, будучи не в состоянии повернуться, посмотреть Бринкеру в лицо и услышать шутку, которая наверняка уже вертелась у него на языке, какую-нибудь ужасную шутку.

– Он хочет знать, пойду ли я с ним записываться в армию, – сказал я и добавил: – Вербоваться.

Это был краеугольный вопрос для всех семнадцатилетних в тот год.

– Да, – подтвердил Бринкер.

– Вербоваться... – одновременно с ним произнес Финни. Он перевел взгляд на меня, в его больших ясных глазах застыло странное выражение. Пристально посмотрев мне в лицо, он спросил: – Ты собираешься записаться в армию?

– Ну-у, я подумал об этом... вчера, после работы на железной дороге...

– Ты подумал о том, чтобы завербоваться? – продолжал Финни, отводя взгляд. Бринкер многозначительно набрал воздуха в легкие, но не нашел, что сказать. Мы трое, дрожа, стояли в тусклом нью-гемпширском утреннем свете: я и Финни в пижамах, Бринкер – в синем фланелевом банном халате и рваных мокасынах. – И когда же? – поинтересовался Финни.

– Ну, я не знаю. Просто Бринкер случайно сказал это вчера вечером, вот и все.

– Я сказал... – начал Бринкер необычно сдержанным голосом, бросив быстрый взгляд на Финнеаса, – я вроде бы сказал, чтобы сделать это сегодня.

Финни проковылял к туалетному столику, взял свою мыльницу и сообщил:

– Я первый в душ.

– А ты сможешь принять душ, не намочив гипс? – спросил Бринкер.

– Смогу, я выставлю его за занавеску.

– Я тебе помогу, – предложил Бринкер.

– Нет, – отказался Финни, не глядя на него, – я сам справлюсь.

– Да как же? – упорно настаивал Бринкер.

– Я справлюсь, – повторил Финни с каменным лицом.

Я едва мог поверить, но это слишком явно читалось по выражению его лица, слишком отчетливо слышалось в ровном звучании его голоса, чтобы ошибиться: Финнеас был потрясен тем, что я могу уехать. В определенном смысле он во мне нуждался. Да, я был ему нужен. Я, человек, заслуживающий доверия менее, чем кто бы то ни было из его знакомых. Я это знал; и он, вероятно, тоже. Я ведь сам ему об этом сказал. Сказал. Сам. Но ни в лице, ни в голосе его не было даже обманной отчужденности. Он хотел, чтобы я был рядом. И война тут же словно отдалилась от меня; мечты о поступлении в армию, о бегстве, о том, чтобы начать все с нуля, утратили для меня всякое значение.

– Конечно, ты сам прекрасно справишься в душе, – сказал я, – но какая разница? Пойдем вместе. Бринкер вечно... Бринкер всегда хочет быть первым. Завербоваться! Что за бредовая идея! Просто Бринкер и тут хочет всех обскакать. Да я бы не пошел с ним записываться, даже если бы он был старшим сыном генерала Макартура.



Бринкер надменно выпрямился.

– А кто я, по-твоему, есть?

Но Финни этого уже не слышал. Его лицо при моих словах расплылось в ослепительной широкой улыбке, озарившей все лицо.

– Записываться в армию! – гнул я дальше. – Да я бы не пошел с ним, даже если бы он был Эллиотом Рузвельтом<sup>[16]</sup>.

– Двоюродным племянником, – огрызнулся Бринкер.

– Он не пошел бы с тобой записываться, – вставил Финни, – даже если бы ты был мадам Чан Кайши.

– Ну, – уточнил я вполголоса, – вообще-то он *и есть* мадам Чан Кайши.

– Ой, держите меня! – закричал Финни, изображая потрясение, изумление и ужас. – Кто бы мог подумать! Китаец. «Желтая угроза» здесь, в Девоне!

И если что-то от нашего разговора осталось в истории Девонской школы образца 1943 года, так это то, что Бринкер Хедли тоже наконец-то обрел кличку, после того как в течение четырех лет раздавал их другим. «Желтая Угроза Хедли» – эта кличка распространилась по школе со скоростью эпидемии гриппа, и надо отдать должное Бринкеру, он отнесся к ней довольно спокойно. Единственное, чего он терпеть не мог, – так это если его сокращенно называли просто Желтым, а не просто Угрозой.

Все это я забыл через неделю, зато я никогда с тех пор не забывал ошеломленного выражения лица Финни, когда он подумал, что в первый же день по его возвращении в Девон я собрался его покинуть. Я не знал, почему он выбрал меня, почему только мне считал возможным открывать самые унижительные стороны своей физической неполноценности. Да мне это было и неважно. Потому что война больше не разъедала мирной летней тишины, которую я так ценил в Девоне. И хотя игровые поля были покрыты коркой слежавшегося снега толщиной в целый фут и река представляла собой твердую белесо-серую ленту льда, вьющуюся между голыми деревьями, для меня в Девон вернулся мир.

Война налетела на нас, словно морской вал, несущийся к берегу, набирающий мощь и увеличивающийся в размере, ошеломляющий в своем натиске, кажущийся неотвратимым, а потом, в последний момент, отклоняющийся в сторону по велению Финеаса; я просто поднырнул под волну – и все, накопленная ею сила прокатилась над моей головой, наверняка грубо выбросив на берег других и оставив меня мирно качаться на поверхности воды, как прежде. Но я не переставал думать о том, что за одной волной неизбежно последует другая, еще более высокая и мощная, –

стоит лишь начаться приливу.

– А я люблю зиму, – в четвертый раз заверил меня Финни, когда мы тем утром возвращались из часовни.

– Зато она тебя не любит.

Большинство дорожек на школьной территории было покрыто деревянными настилами – для удобства и безопасности, но на них повсюду образовались наледи. Стоило Финни чуть-чуть промахнуться, ставя костыль, и он рухнул бы на обледеневшие доски или в покрытый ледяной коркой снег.

Даже помещения Девона для него представляли собой скопище ловушек. Благодаря крупному наследству, завещанному школе несколькими годами ранее неким семейством нефтепромышленников, она была существенно перестроена в стиле пуританской монументальности – словно кто-то приспособил Версаль для нужд воскресной школы. Парадоксально суровая пышность выдавала двойственную суть школы – точно так же, как по-своему эту двойственность символизировали две реки, оседланные ею. Снаружи ее здания казались молчаливо-сдержанными: строгие прямые линии краснокирпичной кладки или деревянной обшивки, со ставнями, стоявшими как часовые по обе стороны каждого окна, с несколькими непритязательными куполами, там и сям разбросанными по крышам, обязательными и некрасивыми, как шапка пилигрима.

Но стоило войти внутрь такого здания через дверь в колониальном стиле с одиноким веерным окошком или рельефными стойками, намекающими на то, что скромные украшения все же допустимы, – и мы попадали в экстравагантную роскошь в стиле мадам Помпадур. Стены из розового и полы из белого мрамора замыкались вверху арочно-сводчатыми потолками; один актовый зал был оформлен в традициях Высокого итальянского Возрождения, другой освещался люстрами, сверкавшими хрустальными подвесками в форме слезы; одна из стен сплошь состояла из французских окон, выходящих на итальянский сад с мраморными скульптурами; первый этаж библиотеки был прованским, второй – в стиле рококо. И повсюду, кроме общежитий, полы и лестницы были сделаны из гладкого полированного мрамора, еще более скользкого, чем ледяные дорожки.

– Нет, зима меня любит, – огрызнулся Финни и добавил, желая сгладить прозвучавшую в голосе капризность: – Ну если это вообще можно сказать о времени года. Я имел в виду, что люблю зиму, а когда что-нибудь по-настоящему любишь, оно отвечает тебе тем же в самых разных

проявлениях.

Я не считал, что это правда, мой семнадцатилетний жизненный опыт показывал, что это скорее заблуждение, но так было со всеми идеями и убеждениями Финни: они должны были быть неоспоримы. Поэтому я и не стал ничего говорить.

Широкий настил закончился, и Финни пошел чуть впереди меня по бежавшей под небольшим уклоном к нашему корпусу узкой дорожке. Он двигался с удивительной осторожностью – удивительной для человека, для которого прежде земля была лишь точкой отталкивания, чем-то вроде базового элемента среды, где совершались космические прыжки. Мне на память пришло то, на что я никогда прежде не обращал особого внимания: как раньше ходил Финеас. На территории школы можно было наблюдать походки всевозможных видов: нескладное шарканье мальчишек, которые вдруг резко вытянулись на целый фут, ковбойскую поступь враскачку тех, кто желал продемонстрировать, насколько раздались у них вширь плечи, иноходь, походку вразвалочку, легкий шаг, гигантские шаги Пола Баньяна<sup>[17]</sup>. Финеас же передвигался плавно, сохраняя равновесие, что казалось, будто он дрейфует мимо, не прилагая никаких усилий и полностью расслабившись. Сейчас он ковылял, хромая, по наледи. Доктор Стэнпоул гарантировал лишь то, что Финеас снова сможет ходить. Но я понимал, что он никогда не сможет ходить так, как прежде.

– У тебя сейчас есть урок? – спросил он, когда мы добрались до ступенек крыльца.

– Да.

– У меня тоже. Давай не пойдем.

– Не пойдем? Но под каким предлогом?

– Скажем, что у меня случился обморок от перенапряжения по дороге из часовни, – он посмотрел на меня с призрачной улыбкой, – и ты должен за мной ухаживать.

– Финни, это твой первый день после долгого отсутствия. Не тебе пропускать занятия.

– Я знаю, знаю. И буду работать. Я действительно намерен работать. Тебе, конечно, придется тянуть меня, но я правда собираюсь работать изо всех сил. Только не сегодня, не с ходу. Не могу я спрягать глаголы, когда еще толком не осмотрел школы. Я же до сих пор не видел ничего, кроме нашей комнаты и часовни. Классную комнату мне лицезреть неохота. Пока неохота. Не сейчас.

– А что ты хочешь увидеть?

Начав поворачиваться ко мне спиной, он коротко ответил:

– Пойдем в спорткомплекс.

Спорткомплекс находился на другом конце школьной территории, на расстоянии минимум четверти мили, и от него нас отделяло ледяное поле. Мы пустились в путь, больше не сказав ни слова.

К тому времени, когда мы добрались до цели, по лицу Финни катился пот, а когда он остановился, стало видно, что у него дрожат руки. Ногу в гипсе он волочил за собой, как якорь. Видимость силы, которая произвела на меня впечатление утром, наверное, была такой же иллюзией, как та, с помощью которой он дома ввел в заблуждение врача и родственников, чтобы его отправили в Девон. Мы постояли на ледяной площадке перед входом, чтобы Финни передохнул и смог войти внутрь, излучая энергию. Потом это вошло у него в привычку; я часто стоял вместе с ним перед каким-нибудь зданием, притворяясь, будто думаю, или смотрю на небо, или снимаю перчатки, но это всегда было неубедительно. Финneas, никогда не имевший опыта в этом деле, обманывать не умел.

Мы направились вдоль мраморного коридора, и, к моему удивлению, Финни прошел мимо Зала спортивной славы, где его имя уже было написано на одном кубке, одном флаге и одном «забальзамированном» футбольном мяче. Я был уверен, что именно в этот зал он и направлялся – поностальгировать о былой славе, и уже приготовился к этому и даже придумал несколько позитивных афоризмов, чтобы взбодрить его. Но он, не задерживаясь, проследовал мимо, спустился по мраморной лестнице, крутой и скользкой, и вошел в раздевалку. Я шагал рядом, озадаченный. В углу валялась стопка грязных полотенец. Финни костылем отбросил их.

– Вот дерьмо, – пробормотал он, едва заметно улыбаясь. – Ну почему надо обходиться без горничных?

В этот час раздевалка – ряды уныло-зеленых шкафчиков, разделенных деревянными скамьями, – пустовала. Под потолком тянулись разнообразные трубы. По девонским меркам это помещение выглядело тоскливо – все кругом грязно-зеленое, коричневое или серое, – но в дальнем конце сверкала белизной высокая мраморная арка, за которой находился бассейн.

Финни опустился на скамью, с трудом снял с себя зимнюю куртку на овечьем меху и глубоко вдохнул воздух спорткомплекса. Ни в одной раздевалке не было более едкого воздуха, чем в девонской; преобладал запах пота, который густо смешивался с запахами парафина и горелой резины, мокрой шерсти и жидкой мази, но для понимающих это был запах изнеможения, потерянной надежды, триумфа и сталкивающихся в поединке тел. Мне он казался просто дурным запахом. Прежде всего это

был запах человеческого тела, выложившегося на все сто, запах, смысл и пикантность которого понятны любому спортсмену так же, как и всякому любовнику.

Финеас бросал взгляд туда-сюда: на перекладину, установленную над заполненной песком ямой у стены, на разновесные гири, сложенные на полу, на скрученный в рулон борцовский ковер, на пару шиповок, заткнутых под шкафчик.

– Все как раньше, правда? – сказал он, поворачиваясь ко мне и слегка кивая.

Помолчав несколько мгновений, я тихо ответил:

– Не совсем.

Он не стал притворяться, будто не понял меня, и, выдержав паузу, оптимистическим голосом сказал:

– Теперь ты наверняка станешь большой звездой. – И прибавил с каким-то смущением: – Ты сумеешь заполнить пробел и вообще... – Он похлопал меня по спине и, указав на перекладину, произнес: – Иди-ка подтянись раз тридцать до подбородка. Чем ты в конце концов решил заняться?

– В конце концов я решил не заниматься ничем.

– Ну да... – С его искаженного гримасой лица на меня сверкнул гневный взгляд. – Ты же у нас помощник администратора гребной команды!

– Уже нет. Я просто хожу на уроки физкультуры. На те, что проводятся для ребят, ничем специально не занимающихся.

Он резко развернулся ко мне, сидя на скамейке. С шутками было покончено, он раздраженно поджал губы.

– Какого черта, – на последнем слове его голос неожиданно понизился, – ты это сделал?

– Было уже поздно куда-либо записываться, – ответил я, но, увидев, как напряжение, способное уничтожить столь слабое оправдание, распалило его лицо и шею, запнулся. – В любом случае пока идет война, часто проводить спортивные соревнования будет невозможно. Не знаю, мне кажется, пока спорт вообще не так уж важен.

– Значит, ты тоже схавал эту муру насчет войны?

– Нет, конечно, я... – Я так старался не раздражать его, что начал опровергать его обвинение, прежде чем понял, в чем оно состоит, но потом осекся. – Какую еще муру? – спросил я, глядя ему в лицо.

– Муру насчет того, что идет какая-то война.

– Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.

– Ты что, действительно думаешь, что Соединенные Штаты находятся в состоянии войны с нацистской Германией и императорской Японией?

– Действительно ли я думаю?.. – Я замолчал, не закончив фразы.

Финни встал, перенеся всю тяжесть тела на здоровую ногу, а другую выставив вперед и лишь слегка касаясь ею пола.

– Не будь дураком. – Он смотрел на меня с холодным спокойствием. – Нет никакой войны.

– А-а, я знаю, почему ты так говоришь, – сказал я, изо всех сил стараясь не поддаваться. – Теперь я понимаю. Ты все еще находишься под воздействием одурманивающих лекарств.

– Нет, это ты находишься под их воздействием. И все вы здесь. – Он развернулся так, что мы оказались лицом к лицу. – Эти разговоры о войне – дурь. Слушай, ты что-нибудь знаешь о «ревущих двадцатых»? – Я кивнул очень медленно и осторожно. – Тогда все накачивались самопальным джином, и молодежь просто делала что вздумается.

– Да.

– А все почему? Потому что ей не нравилось то, что ее окружало: все эти священники, богатые старухи и другие напыщенные ничтожества. Тогда они попробовали ввести сухой закон, но все стали напиваться еще больше; потом, от отчаяния, они устроили Великую депрессию. Это остепенило тех, кто был молод в тридцатых. Но вечно использовать этот фокус было невозможно, поэтому для нас, для молодежи сороковых, они сварганили эту липовую войну.

– Да кто такие эти «они»?

– Жирное старичье, которое не желает, чтобы мы выперли его с насиженных мест. Это они все придумали. Нет, например, никакого дефицита продуктов. Этим типам в их клубах и сейчас подают лучшие стейки из вырезки. Ты разве не заметил, что в последнее время они стали еще толще?

Он, судя по интонации его голоса, не сомневался в том, что я заметил. На какое-то мгновение я и сам в это поверил. А потом мой взгляд упал на белую гипсовую массу, и это, как всегда, отрезвило меня, вывело из придуманного Финни мира, вернуло на землю, как сегодня после пробуждения, вернуло к реальности, к фактам.

– Финни, все это очень забавно, но я надеюсь, ты не слишком переигрываешь? А то гляди – всерьез в это поверишь, и тогда мне придется зарезервировать тебе местечко в дурдоме.

– В некотором роде... – Он не сводил с меня глаз, о чем-то напряженно размышляя. – В некотором роде весь мир сейчас словно пребывает в

дурдоме. А смысл шутки понимает только жирное старичье.

– И ты.

– Да, и я.

– А что же в тебе такого особенного? Почему ты понимаешь, а мы все, остальные, бродим в потемках?

Внезапно лицо у него окаменело, он перестал контролировать себя и выкрикнул:

– Потому что я пострадал!

Оба потрясенные, мы отпрянули друг от друга. В наступившем молчании легкомысленный дух, царивший между нами с утра, испарился. Финни сел и отвернул от меня покрасневшее лицо. Я опустился на скамейку рядом с ним и сидел, не шевелясь, насколько позволяли мои вибрировавшие нервы, а потом встал и медленно пошел к первому попавшемуся снаряду. Им оказалась перекладина. Я подпрыгнул, ухватился за нее руками и, видимо, в качестве неуклюжего, наверняка выглядевшего гротескно подношения Финеасу, стал подтягиваться. Ничего другого – ни правильных слов, ни правильного жеста – я придумать не смог. Только это.

– И так тридцать раз, – усталым голосом велел мне Финни.

Я никогда и десяти раз не мог подтянуться. На двенадцатом повторении я обнаружил, что Финни считал про себя, потому что теперь он продолжил едва слышно считать вслух. На восемнадцатом голос его окреп, на двадцать третьем в его интонации исчезли все признаки усталости; он встал, и требовательность, с которой он произнес последние цифры, сработала как невидимый лифт, поднимавший меня на длину моих рук, пока Финни не пропел: «Тридцать!» – с оттенком удовольствия.

Момент прошел. Я знал, что Финеас даже больше, чем я, был встревожен вырвавшимся у него наружу страданием. Ни один из нас об этом больше никогда не упомянул, но ни один из нас и не забыл этого.

Финни снова сел и устался на свои сцепленные в замок руки.

– Я когда-нибудь говорил тебе, что собирался участвовать в Олимпийских играх? – хрипло спросил он. Финни никогда не упомянул бы об этом, если бы не считал себя обязанным после того, что сказал прежде, поделиться чем-нибудь очень личным, чем-нибудь, что он прятал глубоко внутри. Поступить иначе, начать шутить было бы лицемерной попыткой отрицать то, что случилось, а Финеас так поступить не мог.

Я все еще висел на перекладине, мне казалось, что мои руки вросли в нее.

– Нет, этого ты мне никогда не говорил, – пробормотал я, уткнувшись носом в плечо.

– Ну так вот: собирался. А теперь я не уверен... не на сто процентов уверен, что полностью верну форму к сорок четвертому году. Поэтому вместо себя буду тренировать тебя.

– Но в сорок четвертом году никакой Олимпиады не будет. Осталось ведь всего два года. Война...

– Не мешай свои фантазии со спортом. Мы будем готовить тебя, парень, к Олимпийским играм сорок четвертого года.

И даже не веря ему, не забывая о том, что в этот самый момент войска по всему миру направляются к полям сражений, я, как всегда, поддался на очередную выдумку Финни. Никакого вреда в том, чтобы поставить новую цель, не было, пусть эта цель и была лишь несбыточной мечтой.

Поскольку мы находились очень далеко от линии огня, наши представления о войне были чисто умозрительными. Настоящей войны мы не видели и все свои впечатления о ней черпали из ложных источников: фотографий в газетах и журналах, кинохроники, плакатов, газетных заголовков во всю первую полосу или радионовостей, доносимых до нас искусственными дикторскими голосами. Я понял, что, только постоянно мобилизуя воображение, смогу противостоять мощному натиску Финеаса «в пользу мира».

Но теперь, когда на обед нам давали куриные печенки, я не мог мысленно не представлять себе президента Рузвельта, своего отца, отца Финни и множество других упитанных пожилых людей сидящими в каком-нибудь изысканном, но закрытом, только для тайного мужского сообщества, ресторане за сочным бифштексом из филейной части. А когда из дома мне писали, что визит к родственникам пришлось отменить из-за нормирования бензина, мне нетрудно было представить себе отца, молча, с понимающим видом улыбающегося, – по крайней мере, не трудней, чем вообразить, как американские войска ползут через джунгли на некоем острове под названием Гуадалканал, где бы ни находилась эта дыра, как говорил Финеас.

И когда во время служб в часовне нас день за днем призывали к новым самоограничениям и упорному труду, оправдывая это войной, невозможно было не понять, что преподаватели просто использовали этот предлог, чтобы подстегнуть нас, как подстегивали всегда, неважно – в военное или мирное время.

Вот забавно, если Финни в конце концов окажется прав!

Но я, разумеется, ему не верил. Я был слишком хорошо защищен против главного страха жизни мужской школы – страха «попасться». Как и остальные, за исключением нескольких записных простаков вроде



Чумного, я отвергал все, в чем содержалась хоть малая доля сомнений на этот счет. Поэтому я ему, конечно же, не верил. Но однажды, после того как наш капеллан мистер Кархарт очень растрогался от собственной проповеди насчет Бога в окопах, я, идя из часовни, подумал: если представление Финни о войне химера, то представление мистера Кархарта как минимум такая же химера. Но я и ему, конечно же, не верил.

В любом случае я был слишком занят, чтобы вообще размышлять об этом. В придачу к моей собственной работе я теперь делил все оставшееся время между тем, что натаскивал Финни в учебных дисциплинах, и тем, что он натаскивал меня в спорте. Поскольку, чему бы тебя ни учили, прогресс зависит от атмосферы, в которой это происходит, мы с Финни, к нашему взаимному изумлению, начали делать удивительные успехи в том, в чем раньше были ни в зуб ногой.

По утрам мы вставали в шесть часов, чтобы бегать. Я надевал тренировочный костюм и накидывал на шею полотенце, Финни напяливал свою овечью куртку поверх пижамы и лыжные ботинки.

Однажды утром, незадолго до начала рождественских каникул, мы оба были вознаграждены. Мне предстояло бегать по маршруту, который установил Финни: четыре дистанции по овальной дорожке, огибавшей директорский дом, большое белое здание в псевдоколониальном стиле. Рядом с домом рос старинный вяз, прислонившись к стволу которого Финни отдавал мне указания, пока я нарезал вокруг него большие петли.

Заснеженная дорожка в то утро сверкала белизной; солнце висело низко над горизонтом и, почти невидимое, посылало свои холодные лучи, освещавшие все вокруг нас голубоватым слюдяным мерцанием. Этот северный солнечный свет словно бы взбивал невесомые белые частички, которые хаотично плавали в воздухе на фоне бледно-голубого неба. Все вокруг было неподвижно. Изогнувшиеся голые ветви вяза казались инкрустацией. Звук моих шагов на бегу резко вырывался из-под ног, заполняя собой все обширное сонное пространство, как будто среди этих искрящихся пределов видимости не оставалось места ни для каких других звуков. Финneas стоял, прислонившись к стволу дерева, и время от времени что-то кричал мне, но и его голос быстро рассеивался в воздухе.

Впрочем, в то утро я не нуждался в советах. После двух первых кругов я, как обычно, сжег последние крохи энергии, и, когда погнал себя дальше, мои рассыпавшиеся в прах останки привычно собрались, а в боку угнездилась острая боль. Легкие мои, опять же как обычно, были сыты по горло этой нагрузкой и отныне еле-еле, мучительно справлялись со своей задачей. Колени снова стали ватными, и голени в любую минуту были

готовы сложиться как телескоп и войти в бедра. В голове возникло ощущение, будто разные части черепа со скрежетом трутся друг о друга.

А потом, безо всякой причины, я вдруг почувствовал себя отлично. Словно до того момента тело мое просто ленилось, а чувство изнеможения существовало только в моем воображении и было придумано мною для того, чтобы не дать довести себя до настоящего изнеможения. Казалось, тело наконец смилостивилось – «Ну, если так нужно, то вот, пожалуйста!» – и прилив сил прокатился по мне от головы до ног. Взбодренный, я забыл о привычной жалости к себе, подавленное состояние ума вместе с болью в боку испарились, все преграды были сметены, и я вырвался на открытый простор.

После четвертого круга я предстал перед Финеасом в таком виде, будто все это время просидел в кресле.

– Ты даже не запыхался, – сказал он.

– Ага.

– Ты нашел свой ритм на третьем круге, правда? Когда вышел на длинную прямую.

– Ага, там.

– Значит, все это время ты просто ленился, скажешь «нет»?

– Ага, наверное.

– Ты сам о себе ничего не знал.

– Ну, в некотором роде...

– А теперь, – он запахнул свою овечью куртку на груди, – теперь знаешь. И перестань мычать, как какой-нибудь пентюх из Джорджии – «наверное... в некотором роде...»!

Несмотря на насмешку, Финни судил совершенно объективно. В то утро он показался мне старше, а его укутанная в теплую куртку фигура, спокойно прислонившаяся к дереву, – мельче. А может, дело было в том, что я, пребывая в том же теле, в одночасье почувствовал себя крупнее.

Мы медленно пошли обратно в общежитие и, поднимаясь по ступенькам крыльца, столкнулись с выходящим из здания мистером Ладсбери.

– Я наблюдал за вами из окна, – сказал тот гудящим голосом с долей интереса. – Что ты задумал, Форрестер? Готовишься в морскую пехоту?

Правила, недвусмысленно запрещающего тренировки в сколь угодно ранний час, не существовало, но это было необычно, а все необычное мистер Ладсбери не одобрял. Однако война пошатнула даже его строгие взгляды, все виды физических упражнений стали на определенный период допустимы.

Я что-то неловко промямлил в ответ, а Финеас произнес отчетливо и деловито:

– Он становится настоящим атлетом. Мы готовимся к Олимпиаде сорок четыре.

У мистера Ладсбери из горла вырвался сдавленный смешок, потом его лицо приобрело кирпично-красный оттенок, и в голосе послышалась хорошо знакомая назидательность.

– Игры хороши в свое время, – сказал он, – и я не буду утомлять вас рассуждениями о том, что битва при Ватерлоо была выиграна на спортивных площадках Итона<sup>[18]</sup>, но все занятия спортом должны быть сегодня направлены на то, чтобы приблизить новое Ватерлоо. Держите это в уме все время, хорошо?

На лице Финни появилось решительное, то самое взрослое выражение, которое я заметил недавно, и он ответил:

– Нет.

Не думаю, чтобы когда-нибудь прежде кто-то из учеников дерзнул вот так прямо сказать «нет» мистеру Ладсбери. Неудивительно, что от неожиданности тот пришел в замешательство. Лицо его опять сделалось кирпично-красным, и мне даже показалось на миг, что он готов убежать. А потом он произнес что-то так быстро, хрипло и отрывисто, что ни я, ни Финни ничего не разобрали, стремительно повернулся и зашагал по двору.

– Он не притворяется, он искренне думает, что идет война, – сказал Финни с простодушным удивлением. – Впрочем, почему бы ему так не думать?

Пока мы наблюдали, как тощая даже в зимних одежках фигура мистера Ладсбери удаляется от нас, Финни размышлял о том, почему мистера Ладсбери следует исключить из компании жирных стариков. Потом его осенило.

– Ну разумеется! – воскликнул Финеас. – Он слишком тощий! Конечно.

Мне же было жалко мистера Ладсбери из-за его болезненной худобы. К тому же, в конце концов, он всегда отличался доверчивостью.

## Глава 9

Это было мое первое, но не последнее вероотступничество в пользу видения мира Финни. На многие часы, а иногда и дни, я, сам того не сознавая, впадал в доморощенные толкования мироустройства. Не то чтобы я когда-нибудь верил, что представление под названием «Вторая мировая война» являлось обманом зрения, ловко подстроенным кучкой расчетливых толстых стариков, хотя идея сама по себе была заманчива. Что вводило меня в заблуждение, так это мое личное ощущение счастья; ведь мирное состояние жизни неделимо, а смятение, царившее повсюду на Земле, на мне никак не отражалось. Поэтому я перестал воспринимать его как нечто реальное.

Это ощущение не поколебал даже тот факт, что Чумной записался добровольцем в армию. По сути говоря, из-за этого война стала казаться еще менее реальной, чем прежде. Никакая настоящая война не смогла бы заставить Чумного по собственной воле оставить своих улиток и бобровые дамбы. Поступление в армию представлялось всего лишь его очередной причудой вроде той, когда он отправился спать на вершину горы Катадин в штате Мэн, потому что это точка, которую первой на всей территории Соединенных Штатов по утрам освещает солнце.

В начале января, когда мы только вернулись с рождественских каникул, вербовщик из лыжных войск показал старшеклассникам фильм в нашем ренессансном зале. Чумному этот фильм открыл то, чего все мы искали: узнаваемое и дружелюбное лицо войны. Лыжники в белых маскхалатах летели вниз по склонам, покрытым нетронутым снегом, молчаливые, словно ангелы, а потом уже более реалистично, елочкой, снова поднимались вверх молодцеватыми отрядами загорелых, ясноглазых, белозубых юношей, полной грудью вдыхающих бодрящий горный воздух. То был самый чистый образ войны, какой мне доводилось видеть; даже военно-воздушные силы, парившие недостижимо высоко над пехотной грязью, по общему признанию выглядели перепачканными машинным маслом по сравнению с этими лыжниками, а военно-морские были подвержены цинге. На этих же белых воинах зимы не было ни пятнышка, они неслись вниз по безукоризненно чистым горным склонам, и их холодный ясный ответ войне прочно вошел в вермонтское сердце Чумного.

– Ты только посмотри! – восторженно шептал он мне, глядя на эти

сцены. – Ты только посмотри!

– Знаешь, я думаю это финские лыжные войска, – шептал мне в другое ухо Финеас. – Интересно, когда они начнут стрелять в наших союзников большевиков? Если, конечно, война между ними тоже не липа, в чем я вообще-то не сомневаюсь.

Когда фильм закончился и зажглись лампы, осветив тосканские стенные росписи и фальшивые классические галереи, опоясывавшие зал, Чумной как зачарованный продолжал сидеть на своем складном стуле. Обычно он говорил мало, поэтому количество слов, вылетающих из него теперь, свидетельствовало о том, что произошел поворотный момент в его жизни.

– Знаешь что? Теперь я понимаю, что такое скоростной бег на лыжах. Это когда ты не видишь вокруг ни деревьев, ни местности, ничего вообще, потому что тебе нужно спешить. А на войне всегда нужно спешить. Разве нет? Так что, думаю, те, кто занимался спортивными лыжными гонками, наверное, делали это не зря. Они готовились к будущему. Понимаешь, что я хочу сказать? Все должно развиваться, иначе оно погибает. – Мы с Финни стояли, а Чумной, сидя на стуле, смотрел на нас снизу вверх, переводя взгляд с одного на другого. – Возьмите комнатную муху. Если бы она не развила в себе все эти молниеносные рефлексy, то давно бы вымерла.

– Ты имеешь в виду, что она приспособилась к мухобойке? – осведомился Финни.

– Вот именно. Так же и с лыжным спортом: если бы лыжники не научились развивать такую скорость, война бы их смела. Да, сэр. И знаете что? Я почти рад, что случилась эта война. Это же своего рода испытание, правда? И выживают только те вещи и люди, которые правильно развивались.

Обычно я слушал Чумного вполуха, но эта его теория привлекла мое пристальное внимание. Как все это относится ко мне и к Финеасу? И как, прежде всего, это относится к самому Чумному?

– Я запишусь в лыжные войска, – продолжил он так спокойно и невыразительно, что мое внимание снова отключилось. В ту зиму угрозы записаться в армию всегда произносились с пафосом, со скрежетом зубов и огнем в глазах, я наслушался их вдоволь, не только от Бринкера. Но один лишь Чумной сказал это просто и серьезно.

Спустя неделю он уехал. До восемнадцатого дня рождения ему оставалось несколько недель, и тогда у него уже не было бы возможности выбрать род войск, его определили бы туда, куда сочли бы нужным. Это лыжное кино решило дело.

– Я всегда думал, что война заберет меня тогда, когда я ей понадобится, – сказал он, придя попрощаться накануне отъезда, – и никогда не предполагал, что сам пойду ей навстречу. Я очень рад, что вовремя увидел этот фильм, честное слово. – И с этими словами наш первый девонский новобранец Второй мировой вышел из дверей моей комнаты, покачивая белой вязаной шапкой-чулком за спиной.

Вероятно, для всех нас было бы лучше, если бы первым пошел на войну кто-нибудь вроде Бринкера. Тот бы уж наверняка обставил свой отъезд как шумное театральное действие, по школе еще несколько недель эхом раздавались бы Последние Слова Бринкера, разговоры о Военной Выправке Бринкера и Чувстве Долга Бринкера. И все мы под влиянием образовавшейся в его отсутствие пустоты отчетливо почувствовали бы прикосновение войны. Но исчезающий хвост шапки Чумного подобных чувств не пробудил. В течение нескольких дней война казалась даже еще более невообразимой, чем прежде. Мы не упоминали ни ее, ни Чумного, пока наконец Бринкер не нашел подходящий момент для этой темы. Однажды в курилке он прочел вслух газетное сообщение о покушении на Гитлера. Опустив газету, он посмотрел прямо перед собой мечтательным взглядом и произнес:

– Конечно же, это дело рук Чумного.

И Чумной сделался символом, связующим нас со Второй мировой войной. Тунисская кампания стала «Освобождением Чумного»; бомбежки Рура Бринкер приветствовал с обиженным удивлением: «Он не сказал нам, что покинул лыжные войска»; а на торпедирование линкора «Шарнхорст» откликнулся коротко: «Ну вот, опять он». Чумной возникал то там, то здесь по всему миру, оказываясь причастным к каждому успеху союзников. Мы говорили об участии Чумного в обороне Сталинграда, о Чумном на Бирманской дороге<sup>[19]</sup>, о возглавляемом Чумным морском конвое в Архангельск; мы высказывали предположение, что кризис руководства в «Свободной Франции» может быть разрешен назначением не де Голля и не генерала Жиро, а Лепеллье; мы лучше любых газет знали, что вовсе не Большая Тройка, а Большая Четверка управляет войной.

В молчании, воцарившемся между шутками про славные деяния Лепеллье, мы задавались вопросом: а соответствуем ли мы сами хоть в очень скромной степени армейским стандартам? Я не знал о себе всего, что нужно было знать, и знал, что не знаю; в тех самых перерывах между шутками насчет Чумного я спрашивал себя, не прячется ли в потайных уголках моей души никчемный недотепа или трус. Мы все надрывали животы, насмехаясь над Чумным, но втайне надеялись, что он, неумеха,

стал именно таким героем, каким мы его шутливо живописали.

В легенду о Чумном свою лепту вносили все, кроме Финеаса. В самом начале, когда речь зашла о покушении на Гитлера, он сказал:

– Если бы кто-нибудь дал Чумному заряженное ружье и приставил ствол к виску Гитлера, Чумной все равно промахнулся бы.

Все громко возмутились, а потом решили возводить Триумфальную арку в честь Чумного на краугольном камне, заложенном Бринкером. Финеас в этом участия не принимал, а поскольку в курилке мало о чем другом, кроме этого, говорили, он перестал ходить туда и меня удерживал.

– Как ты собираешься стать спортсменом, если дымишь, как лесной пожар?

Он старался отвадить меня от компании из курилки, от Бринкера, Чета и всех остальных друзей и держать в мире, который населяли только мы с ним, в мире, где не было никакой войны, где только Финеас и я, одни среди всего населения Земли, тренировались для участия в Олимпиаде сорок четвертого года.

Субботние вечера в мужской школе ужасны, особенно зимой. Футбола нет, совершать велосипедные прогулки по окрестностям невозможно. И даже самые отчаянные зубрилы не хотят закапываться в книги, потому что впереди воскресенье, длинное, ленивое, тихое воскресенье, в течение которого можно будет сделать все домашние задания.

Эти воскресенья становятся еще тягостней в конце зимы, когда снег теряет свою новизну и сияние, и кажется, что вся школьная территория превращается в сеть водостоков. В начале дня наступает короткая оттепель, и грязная вода начинает отвратительно шипеть и булькать в водосточных трубах и канавах, а под коркой слежавшегося снега, сквозь трещины в которой проглядывают комья замерзшей грязи, течь серым унылым потоком. Кусты, утратив свое сверкающее снежное убранство, стоят голые и хрупкие, слишком истощенные, чтобы скрывать собою стоки, что, в сущности, и является их предназначением. В такие дни перед входом в любое здание требуется преодолеть натоптанный кем-то до вас «ковёр» из грязи и золы, который истончается и наконец исчезает только в коридоре. Небо безнадежно пустое и серое, и не покидает ощущение, что таким оно будет вечно. Кажется, что зима-оккупантка захватила, опустошила и разрушила все, и нет больше в природе никакого сопротивления. Все соки иссякли, все ростки жизни сорваны, и теперь сама зима, старая, растленная, усталая победительница, ослабляет свою гибельную хватку, немного отступает, теряет бдительность; пресыщенная победой и ослабленная

отсутствием противодействия, она сама начинает отводить войска от лежащей в руинах округи. Лишь водостоки продолжают свою активную деятельность, и по воскресеньям их бурление звучит прощальным песнопением по зиме.

Один Финеас не видел в этом ничего угнетающего. Так же как в его философии не было никакой войны, не существовало для него и отвратительной погоды. Как я уже говорил, Финеас от любой приходил в восторг.

– Знаешь, что хорошо бы сделать в следующее воскресенье? – начал он одним из своих характерных голосов, низким, ровным, мелодичным, тем, который мне почему-то всегда напоминал мерный рокот «Роллс-Ройса», едущего по автостраде. – Хорошо бы нам устроить Зимний карнавал.

Мы сидели в нашей комнате по обе стороны от единственного большого окна, обрамлявшего квадрат невыразительного серого неба. Ногу в гипсе, который был теперь значительно менее громоздким, Финеас положил на стол и задумчиво выдавливал на нем какие-то узоры перочинным ножиком.

– Какой Зимний карнавал? – спросил я.

– Тот самый. Девонский зимний карнавал.

– Нет никакого Девонского зимнего карнавала, и не было никогда.

– А теперь будет. Мы устроим его в парке на берегу Нагуамсет. Главным развлечением, разумеется, будут спортивные игры, а гвоздем программы – прыжки на лыжах...

– Прыжки на лыжах?! Да этот парк плоский, как блин.

– ...и слалом, а также, думаю, короткая лыжная гонка. Но придется включить и соревнования по лепке снежных фигур, немного музыки и какой-нибудь закусок. Итак, какой комитет ты хочешь возглавить?

Я одарил его ледяной улыбкой.

– Комитет по снежным фигурам.

– Я так и думал. В глубине души ты всегда был эстетом, правда? Я буду отвечать за спортивную часть, Бринкеру можно поручить музыку и еду, и еще нужен кто-то, кто будет делать украшения, – венки из остролиста и все такое прочее. Кто-нибудь, кто умеет управляться со всякими растениями. А, знаю! Чумной.

Я в недоумении отвел взгляд от звезды, которую он выдавливал на гипсе, и посмотрел ему в глаза.

– Чумной уехал.

– Ах да. Чумного же не будет. Ну тогда кто-нибудь другой.



И поскольку это была идея Финни, все случилось ровно так, как он сказал, хотя и не с такой легкостью, с какой воплощались его прошлые озарения. Потому что наше общежитие с каждой неделей испытывало все меньше энтузиазма. Бринкер, например, с того самого утра, когда я отрекся от его плана поступления на военную службу, начал последовательно и решительно отходить от школьных дел. Он не сердился на меня за перемену намерений и, по сути дела, сам тут же изменил свои. Если он не смог записаться в армию – а при всей своей самодостаточности Бринкер мало что делал в одиночку, – он мог, по крайней мере, перестать быть столь многообразно гражданственным. Посему он ушел с поста президента дискуссионного клуба «Золотое руно», прекратил писать свои духоподъемные колонки в школьную газету, снял с себя обязанности председателя подкомитета «Братство добрых самаритян», Комитета по делам детей из местных неимущих семей, приглушил свой баритон в церковном хоре и даже в пароксизме безответственности ушел из Ученического совещательного комитета при Директорском распорядительном благотворительном фонде. Его благопристойное облачение исчезло, он стал одеваться в брюки цвета хаки, подпоясанные военным ремнем, и ботинки, громыхавшие на ходу. Когда я пришел к нему с предложением Финни, он спросил с разочарованным видом, который полюбил напускать на себя в последнее время:

- Кому нужен Зимний карнавал? Что мы собираемся праздновать?
- Зиму, полагаю.
- Зиму! – Он посмотрел в окно на пустое небо и слякотную землю. – Честно признаться, не вижу, что тут праздновать, – зиму, весну или еще чего.
- Финни впервые что-то придумал после... своего возвращения.
- Он ведь в некотором роде недееспособен, так ведь? Надеюсь, он ничего *такого* не замышляет?
- Нет, он ничего не замышляет.
- Ну, ладно, если ты думаешь, что Финни хочется именно этого... Хотя здесь никогда не устраивали никакого Зимнего карнавала. Может даже, существует правило, запрещающее его проведение.
- Понятно, – сказал я тоном, заставившим Бринкера поднять глаза и встретиться со мной взглядом. В этом заговорщическом обмене взглядами все его сомнения рассеялись, ибо Бринкер-Законодатель на определенный период превратился в Бринкера-Бунтаря.

Суббота выдалась голубовато-серой. Все утро оснащение для Зимнего

карнавала тайно переносили из общежития в маленький неогороженный парк на берегу реки Нагуамсет. Бринкер руководил транспортировкой, грохоча вверх-вниз по лестнице своими ботинками и отдавая распоряжения. Он напоминал мне пиратского капитана, избавляющегося от награбленного добра. Сокровищем, требующим самого бережного обращения, были несколько бутылок очень крепкого сидра, которые он угрозами выманил у какого-то мужика. Их закопали в снег в центре парка, отметили место еловыми ветками, и Бринкер поставил своего соседа по комнате Брауни Перкинса сторожить клад, сказав, что тот отвечает за него жизнью. И Брауни знал, что это не пустые слова. Поэтому он дрожал, стоя посреди парка один, размышляя, что будет, если у него вдруг случится приступ аппендицита или обморок, и нервничая от осознания, что, может быть, придется перетаскивать эти бутылки, пока наконец не пришли мы. После этого Брауни уполз обратно в общежитие, слишком изнемогший, чтобы радоваться какому бы то ни было празднеству. В день, отмеченный напряженным духом негласного соперничества, этого никто и не заметил.

Погребенный под снегом сидр был полусознательно помещен в самый центр карнавала. Вокруг него выросли огромные неряшливые статуи, которые из мокрого снега лепить было нетрудно. Неподалеку, абсолютно неуместный в этом снежном ландшафте, словно престарелая вдова в салуне, стоял тяжелый круглый стол, перенесенный сюда по настоянию Финни нечеловеческими усилиями учеников накануне вечером, так как ему нужно было на чем-то расставлять призы. На этом столе они теперь и покоились: холодильник Финни, который все эти месяцы был спрятан в подвале; Академический словарь Уэбстера с отмеченными в нем наиболее бодрящими словами; наборные гантели; «Илиада» с надстрочным английским переводом каждого предложения; альбом фотографий Бетти Грейбл<sup>[20]</sup>, принадлежащий Бринкеру; локон, срезанный под принуждением с головы Хейзел Брюстер, профессиональной городской красотки; ручного плетения веревочная лестница, снабженная уведомлением, что она может достаться только кому-нибудь, живущему в комнате на третьем этаже и выше; поддельное призывное свидетельство и четыре доллара тринадцать центов от Директорского благотворительного фонда. Этот последний приз Бринкер выложил на стол с таким молчаливым достоинством, что все мы сочли за благо не задавать ему вопросов на этот счет.

Финеас сидел за столом в черном резном кресле орехового дерева со львиными головами на подлокотниках; ножки кресла в форме львиных лап, вцепившихся в колесики, сейчас утопали в снегу. Эту покупку Финеас совершил в то утро. Он покупал вещи исключительно по наитию и только

тогда, когда у него были деньги, а поскольку два эти условия соблюдались редко, и покупки его были редкими и странными.

Чет Дагласс стоял рядом с ним, держа в руке трубу. К сожалению, Финни пришлось отказаться от плана пригласить школьный оркестр для музыкального сопровождения праздника, поскольку в этом случае все сведения о карнавале раньше времени распространились бы до самых дальних уголков кампуса. В любом случае Чет в роли музыканта был более разумным решением проблемы по сравнению с оркестровой какофонией. Он был стройным светлокожим мальчиком с шапкой кудрявых рыжевато-каштановых волос, завитками падающих на лоб, и славился беззаветной преданностью двум вещам: теннису и трубе. И в теннис, и на трубе он играл так непринужденно, с врожденным мастерством, что, понаблюдав за ним, я начал думать, будто и сам мог бы овладеть любым из этих искусств за одни выходные. Так же, как и у большинства из нас, у него был скрытый, но серьезный и обязывающий изъян, не позволявший ему стать по-настоящему важным членом школьного коллектива: чтобы в тебе признали личность, в Девоне требовалось быть грубым – по крайней мере, иногда – и резким, без этого никто ничего из себя не представлял. Никто, за исключением Финеаса, разумеется.

Слева от наградного стола, широко расставив ноги, Бринкер стерег свой запас сидра; за его спиной торчали воткнутые в снег еловые ветки, а дальше начинался пологий подъем, на верху которого члены Комитета по прыжкам на лыжах утаптывали снег под небольшую стартовую площадку, край которой нависал над склоном искусственного холма в лучшем случае на фут. А еще дальше шеренга снежных статуй – неузнаваемые художественные пародии на директора, мистера Ладсбери, мистера Пэтч-Уизерса, доктора Стэнпоула, нового диетврача и Хейзел Брюстер – изгибалась полукругом, который вогнутой частью был обращен к набегающему на берег ледяному, грязному шелестящему прибою Нагуамсет, а выпуклой – к наградному столу.

Когда лыжный трамплин был готов, началась некоторая суэта; двадцать мальчишек, которых всю зиму крепко держали в узде, теперь стояли, словно кони, закусившие зубами мундштуки и готовые рвануть вперед. Финеас должен был дать старт спортивным соревнованиям, но он с головой ушел в инвентаризацию призов. Все перевели взгляд на Бринкера. Тот с каменно-невозмутимым видом охранял свои спрятанные бутылки и продолжал вызывающе оглядываться, пока не осознал: куда бы он ни посмотрел, отовсюду в ответ на него взирали вопрошающие глаза.

– Ладно-ладно, – хрипло произнес он. – Давайте начинать.

Рваная живая изгородь сомкнулась вокруг него.

– Пора! – закричал он. – Ну же, Финни. С чего начнем?

Особенностью склада ума Финеаса, как я уже говорил, было то, что он мог, фиксируя все, что происходит, никак на это не реагировать, ведь мысли его были заняты чем-то другим. Вот и сейчас он, казалось, еще больше углубился в изучение своего списка.

– Финеас, – сквозь зубы процедил Бринкер. – Что дальше?

Прилизанная каштановая голова продолжала замороженно глядеть в список.

– Что за спешка, Бринкер? – с угрожающей вежливостью спросил кто-то из круга. – Куда торопиться?

– Так мы можем простоять тут весь день, – выпалил он. – Если мы хотим провести этот чертов карнавал, нужно начинать. Что дальше? Финеас!

Наконец количество внешней информации в сознании Финеаса, видимо, достигло критической массы. Он рассеянно поднял голову, посмотрел на Бринкера, стоявшего, все так же широко расставив ноги, в центре плотного круга готовых к действию мальчишек, помешкал, поморгал, а затем своим органным голосом добродушно сказал:

– Дальше? Ну это же совершенно очевидно. Дальше – вы.

Чет выдул из своей трубы будоражащий, дикий сигнал открытия корриды, и цепочка мальчишек, сомкнувшихся вокруг Бринкера, вмиг рассыпалась. От неожиданности Бринкер дернулся назад, попятился, споткнулся о еловые ветви, затоптался на месте, и из-под снега стали появляться бутылки.

– Какого черта! – завопил он, теряя равновесие и цепляясь за ветки. – Какого... черта!.. – К тому времени сидр, который он явно намеревался выдавать скупыми порциями по своему руководящему соизволению, исчезал прямо на глазах. Похоже, никакого разрешения даже со стороны самого Бринкера в тот день в Девоне никому уже не требовалось.

Из свалки жаждающих я выхватил одну бутылку, плечом отразил чью-то атаку, вынул пробку, глотнул для пробы, задохнулся, а потом продолжил, приведя этим Бринкера в состояние немого ужаса. Глаза у него выпучились, жилы на шее вздулись и начали пульсировать, и я наконец оторвал бутылку ото рта.

Он уставился на меня долгим изучающим взглядом, сохраняя на лице выражение непроницаемой сосредоточенности, хотя за ним явно скрывались метания между яростью и бурным весельем; думаю, стоило мне моргнуть – и он бы мне врезал. Словно бомба, над нами нависла угроза

превращения карнавала в необузданный разгул. Я продолжал в ответ невозмутимо смотреть на Бринкера, пока под осуждающим взглядом его губы не разомкнулись и с них не сорвались слова:

– На меня напали!

Я рывком поднес бутылку ко рту, с облегчением сделал огромный глоток сидра – и усилие испарилось, возможно, его унесло отступающей волной Нагуамсет. Сквозь мальчишечий водоворот Бринкер решительно прошагал к Финеасу.

– Официально объявляю, – возвестил он трубным голосом, – что Игры открыты.

– Ты не можешь этого сделать, – укоризненно сказал Финни. – Слыханное ли дело открывать Игры без священного Олимпийского огня!

– Огня, огня! – повторил я вслед за ним.

– Мы пожертвуем одним из призов, – продолжил Финни, хватая «Илиаду». Он обрызгал ее страницы сидром, чтобы повысить их воспламеняемость, поднес спичку, и над книгой взметнулся маленький фитилек пламени.

Чет Дагласс, привалившись бедром к краю стола, продолжал выдувать разные тематически музыкальные мотивы для собственного удовольствия. А потом, забыв обо всех нас и о спортивной программе, запущенной наконец Финеасом, пошел разгуливать по парку: иногда он подходил к старту, например, соревнований по прыжкам с трамплина, давая им соответствующий музыкальный сигнал, но чаще обращался к безмятежной стройности Гайдна, или далекому надменно-возвышенному миру Испании, или к веселой, задушевной беспечности Нового Орлеана.

На нас начинало сказываться воздействие крепкого сидра. Или, может быть, как я теперь думаю, не сидр, а избыток наших собственных эмоций пьянил нас, придавал чувство полета, заставившее Бринкера навалиться, как в футбольной атаке, на статую директора. У меня возникло ощущение парения, когда, надев лыжи и съехав по невысокому спуску, я оторвался от миниатюрного трамплина и почувствовал, будто несусь с бешеной скоростью прямо в космос; а Финеаса вдохновило влезть на наградной стол и под одну из испанских импровизаций Чета исполнить на одной ноге шуточный танец, перескакивая с одного свободного от призов места на другое, аккуратно обходя локон Хейзел Брюстер и не задевая фотографий Бетти Грейбл. Не под влиянием сколь угодно крепкого сидра, а в силу свойственного его натуре умения на миг ощутить беспричинную радость жизни внутри себя, Финеас вновь обрел магический дар существования в пространстве: уступая закону гравитации, он лишь на миг касался ногой

стола, чтобы тут же снова взвиться в воздух. Финеас неистово демонстрировал себя – себя в том мире, который он любил; это была его хореография мира как способа бытия.

И когда он, закончив свой танец, уселся на стол среди призов и сказал: «А теперь у нас десятиборье. Тишина! На старт вызывается наш кандидат на участие в Олимпийских играх Джин Форрестер», то вовсе не сидр заставил меня почувствовать себя чемпионом во всем, что бы он ни приказал мне сделать: бежать так, словно я был воплощением самого понятия скорости, обойти полукруг снежных фигур на руках, постоять на голове на крышке его холодильника, водруженного на наградной стол, перепрыгнуть через Нагуамсет и триумфально приземлиться посреди гребной базы Квакенбуша и в конце под бурные рукоплескания – ибо в этот день даже неистребимый эгоизм девонских школяров волшебным образом отступил – благодарно принять венок из остролиста, который Финеас возложил мне на голову. Вотще не сидр заставил меня превзойти самого себя, это было освобождение, вырванное у захватившей нас серости тысяча девятьсот сорок третьего года, устроенный нами побег, день мимолетного, иллюзорного, особого, сепаратного мира.

Именно поэтому я не видел, как из общежития прибежал Брауни Перкинс, и не слышал, что он говорил, пока Финни весело не закричал:

– Телеграмма для Джина? Это из Олимпийского комитета! Ты прошел квалификацию. Тебя допускают до участия в Играх! Конечно, допускают! Дай мне, Брауни, я прочту вслух всему честному собранию.

Но все это постепенно утекало прочь по мере того, как я наблюдал за лицом Финни, меняющим выражение, проходя все стадии от бурной радости до шока.

Я взял у него телеграмму, заранее приготовившись к любой катастрофе. Та зима приучила меня к этому.

«Я СБЕЖАЛ, НУЖДАЮСЬ ПОМОЩИ. НАХОЖУСЬ РОЖДЕСТВЕНСКОМ МЕСТЕ. ТЫ ЗНАЕШЬ. УКАЗЫВАТЬ АДРЕС РИСКОВАННО. МОЕ СПАСЕНИЕ ЗАВИСИТ ТВОЕГО БЫСТРОГО ПРИЕЗДА. ТВОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ЭЛВИН ЧУМНОЙ ЛЕПЕЛЛЪЕ».

## Глава 10

В ту ночь я в первый раз совершил путешествие, череда из которых вскоре стала монотонной рутинной моей жизни: путешествие по незнакомой местности от одного неизвестного населенного пункта к другому. На следующий год это стало главной деятельностью, а вернее, бездеятельностью, в моей армейской службе: не бои, не марш-броски, а такие вот ночные вояжи; потому что, как выяснилось, на войну мне попасть было не суждено.

Я надел военную форму тогда, когда противник начал отступать так стремительно, что потребовалось срочное сокращение планов военной подготовки. Программы, рассчитанные на два года, устарели за шесть месяцев, и масса мужчин, собранных в одном месте для прохождения подготовки, была рассеяна по двадцати другим пунктам. Появилось новое оружие, и те из нас, кто уже прошел три или четыре базы, освоив старое, были командированы на пятую, шестую и седьмую – осваивать новое. Чем ближе становилась победа, тем быстрее нас перемещали по территории Америки в поисках роли, которую мы могли бы еще сыграть в драме, для коей сначала не хватало исполнителей, а теперь вдруг образовался их избыток. В действительности их было бы, как обычно, слишком мало, если бы не разыгрался последний акт этой пьесы: массированное наступление на самоубийственно защищавшуюся Японию. Я и призывники моего года – не «моего поколения», потому что судьба теперь определялась слишком короткими для этого понятия отрезками времени, – так вот, я и мои одноклассники были самыми подходящими для этого последнего акта исполнителями. Большинству из нас, по предварительным оценкам, предстояло погибнуть. Но мужчины чуть постарше провели наступление и обезвредили противника быстрее, чем ожидалось, а потом произошло финальное истребление Бомбой. Похоже, это спасло нам жизнь.

Таким образом, скитания по незнакомым частям Америки стали моим главным военным воспоминанием, а первым среди них была та ночная поездка к Чумному. Я несколько не сомневался в том, где его искать: «Нахожусь рождественском месте» означало, что он дома. Он жил на самом севере Вермонта, где в это время года даже асфальтированные главные автострады изобилуют ухабами и ямами из-за сильных морозов и каждый дом в одиночку обороняется от холода. Обычная жизненная среда здесь – холод, и дома представляют собой укромные гавани, маленькие цитадели

посреди мертвого ландшафта, хоть и простые, но незабываемо уютные благодаря их теплу.

Дом Чумного, одиноко прилепившийся к склону холма, был одним из таких очагов. Я добрался до него рано утром после ночи, предвосхитившей мою войну: поездка в насквозь продуваемом вагоне поезда, промозглое помещение железнодорожного полустанка, расположенного, судя по всему, вдали от какого бы то ни было города; автовокзал с очередью людей, ни один из которых не производил впечатления окончательно проснувшегося, умывшегося и вообще имеющего свой дом; автобус, пассажиры которого входили и выходили на безлюдных остановках в полной темноте, – такими были мои скитания в холодной ночи, на протяжении которых я, в промежутках между провалами в сон, пытался расшифровать смысл телеграммы Чумного.

До города я добрался на рассвете и, взбодренный уренным светом и крепким кофе в белой чашке с толстыми стенками, пришел наконец к обнадеживающему выводу: Чумной «спасся». А из армии не «спасаются», значит он, должно быть, сбежал откуда-то еще. Если речь идет о солдате, логичнее всего предположить, что он спасся от угрозы, от смерти, от врага. А поскольку за океан Чумного не отправляли, враг должен был находиться здесь, на родине. А единственными врагами здесь могли оказаться только шпионы. Значит, Чумной сбежал от них.

Я ухватился за это объяснение и не желал заглядывать за его рамки. Наверное, истории, сочинявшиеся в нашей курилке о его похождениях по всему миру, сделали меня почти готовым поверить в нечто подобное. Когда объяснение нашлось, я испытал безмерное облегчение. В конце концов, это придавало войне какую-то окраску, какую-то надежду, вдыхало в нее какую-то реальную жизнь. Единственный из моих друзей, отправившийся на нее, почти сразу же столкнулся со шпионами. Во мне забрезжила надежда, что это не такая уж плохая война.

Мне сказали, что дом Лепеллье находится недалеко от города. А также, что такси в городе нет, о том, что нет в нем и никого, кто согласился бы меня туда отвезти. Это же Вермонт. Но если Вермонт – это суровость по отношению к чужакам, то это же и несравненное великолепие утренних пейзажей, в том числе нынешнего утра: иссиня-белый снег мягким уютным покрывалом лежал на склонах, березы и сосны цепко держались корнями за землю, четко вырисовываясь на фоне снега и неба, неказистые на вид, но очень сильные, как сами вермонтцы.

Благословением этого утра было солнце – единственный его радостный участник, эстет, не имеющий иной цели кроме как сиять. Все



остальное казалось резко очерченным и жестким, но это греческое солнце извлекало радость из любой угловатости и ярким сиянием стирало суровость с лица местной природы. Когда я бодрым шагом вышел на дорогу, ветер тут же принялся острым ножом полосовать мое лицо, но солнце в то же время ласкало мне затылок.

Дорога тянулась по склону хребта, и примерно через милю я увидел дом, предположительно дом Чумного, оседлавший вершину холма. Это был типичный неприветливый на вид вермонтский дом, разумеется, белый, с узкими вытянутыми окнами, напоминавшими лица жителей Новой Англии. В одном из них висела золотая звезда, оповещавшая о том, что сын этого семейства служит родине, а в проеме другого стоял сам Чумной.

Хотя я направлялся прямо к входной двери, он несколько раз кивком указал мне на нее и не сводил глаз, словно именно они вели меня по нужному пути. Когда я дошел до входа, он все еще стоял у окна нижнего этажа, поэтому я сам открыл дверь и вступил в холл. Чумной появился в дверях справа, которые вели в столовую.

– Иди сюда, – сказал он, – я тут провожу большую часть времени.

Как обычно, обошлось безо всяких церемоний.

– Почему, Чумной? – спросил я. – Это же не очень удобно.

– Зато это полезная комната.

– Да, согласен, полезная, ну и что?

– В столовой всегда найдется, на что отвлечься. А в гостиной не знаешь, куда себя деть. Здесь всегда одолевают проблемы.

– В спальне тоже. – Это была попытка помочь ему расслабиться, освободиться от дурного предчувствия; на самом деле оно лишь усугубилось.

Он повернулся и повел меня в гостиную, где было совсем мало мебели: стол, стулья с высокими спинками, голый пол и холодный камин.

– Но если ищешь по-настоящему удобную и полезную комнату, – продолжал я с притворной задушевностью, – то лучше проводить время в ванной.

Он посмотрел на меня, и я заметил, что его верхняя губа раза два дрогнула, как будто он собирался сказать что-то злое или расплакаться. Однако потом я сообразил, что это не имеет никакого отношения к его настроению, а происходит произвольно.

Он сел за стол в единственное кресло – видимо, это было кресло его отца. Я снял куртку и пристроился к столу с длинной стороны спиной к камину. Так я, по крайней мере, мог смотреть на солнце, радостно игравшее на снегу.

– Здесь всегда все одинаково. Можно, например, не сомневаться, что еду подадут три раза за день.

– Уверен, твоей маме не доставляет особой радости то, что она должна все время готовить.

Впервые его лицо выразило ожесточенность.

– А что может доставить ей радость? – Он с вызовом посмотрел в мое насторожившееся лицо. – Я никому радости доставить не могу, – яростно выкрикнул он, и я увидел слезы в его глазах.

– Ну, наверное, она все же радуется. – Сейчас годились любые слова, чем несуразней и легкомысленней, тем лучше, любые слова, которые смогли бы его остановить; я не хотел этого видеть. – Наверное, она радуется тому, что ты снова дома.

Его лицо опять приобрело унылое выражение. Поскольку это я придал разговору легкомысленный оборот, то и продолжение было за мной.

– Как долго ты здесь пробудешь? – непринужденно спросил я.

Он пожал плечами, и на его лице отразилось раздражение, вызванное моим вопросом. От безукоризненной вежливости, всегда присущей ему, не осталось и следа.

– Ну если ты в отпуске, то должен знать, когда тебе возвращаться, – продолжил я голосом, который тогда казался мне взрослым, то есть голосом человека опытного и отчасти делового. – В армии же, предоставляя отпуск, не говорят: «Возвращайся, когда тебе надоест гулять»?

– Нет у меня никакого отпуска, – простонал он. Глядя на отчаяние в его глазах и стиснутые кулаки, только стоном и можно было это назвать.

– Я помню, в телеграмме было написано, что ты «сбежал». – Теперь я говорил отрывисто, безо всякого выражения. Я больше не хотел, чтобы это было правдой, я больше не хотел никаких историй про шпионов, дезертирство, ни про что, выходящее за рамки обычного. Знал, что именно так и будет, но не хотел этого.

– Да, я сбежал! – Чумной выпалил это слово с такой силой и мукóй, какие не были ему свойственны. Ярость исказила его лицо, но глаза отрицали ее; скорее, они видели ее перед собой. Они были наполнены ужасом.

– Что ты хочешь сказать? Что значит – сбежал? – резко спросил я. – Ты же сбежал не из армии?

– Вот как ты заговорил. Хорошо тебе нести всякую ахинею. – Теперь и глаза его пылали яростью, он уставился на меня невидящим взглядом. – Да что ты в этом смыслишь?! – Чумной времен бобровых плотин ничего

подобного никогда не сказал бы.

– Ну, я... как, по-твоему, я должен на это ответить? Я знаю только, что для армии нормально, вот и все.

– Нормально, – с горечью повторил он. – Что за кретинское слово! Так, значит, вот что ты об этом думаешь. Вот что будут думать обо мне такие, как ты. Вы думаете, что я ненормальный, да? Я знаю, что вы думаете... Я вижу теперь многое из того, чего не видел раньше... – голос его затих до раздраженного шепота: – вы думаете, что я психопат.

Я постарался осмыслить это слово. Оно мне сразу не понравилось, потому что принадлежало миру, о существовании которого я не знал. «Рехнувшийся», «чокнутый», «слетевший с катушек» – это мне было понятно. Слово «психопат» происходило из другой реальности, из реальности психиатрической больницы, в нем было нечто системное, оно звучало как диагноз. Как будто Чумной узнал его, пока был в плену, вдали от Девона и Вермонта, от всего того, что было у нас общего, – словно он вдруг заговорил по-японски.

От страха у меня свело живот. Теперь мне было все равно, что говорить Чумному, я тревожился о себе. Потому что если Чумной стал психопатом, то это сделала с ним армия, а я и все мы были в одном шаге от армейской службы.

– Меня тошнит от тебя, от тебя и твоих чертовых армейских словечек.

– Они собирались меня... – Он почти смеялся, смеялось в нем все, кроме глаз, выражение которых продолжало противоречить тому, что он говорил. – Они собирались списать меня по восьмой статье<sup>[21]</sup>.

В качестве последнего средства защиты я всегда напускал на себя вид презрительного превосходства, ни на чем не основанный. Я откинулся на спинку стула, приподнял брови и пожал плечами.

– Я даже не понимаю, о чем ты говоришь. Это для меня какая-то бессмыслица. Китайская грамота.

– По восьмой статье увольняют придурков, психов, кандидатов в дурдом. Теперь тебе понятно, о чем я говорю? Увольнение по восьмой статье – это все равно что позорная отставка, только хуже. После этого тебя никуда не возьмут на работу. При поступлении требуют показать документ об увольнении из армии и, когда видят восьмую статью, смотрят на тебя с таким выражением, с каким, стараясь скрыть отвращение, смотрят на человека, у которого сопли под носом, – смотрят и говорят: «К сожалению, у нас в данный момент нет вакансий». Клеймо на всю жизнь – вот что такое восьмая статья!

– Не ори, у меня со слухом все в порядке.

– Да пошел ты, придурок. Подожди, они и тебя поимеют.  
– Никто меня не поимеет.  
– О, они поимеют, еще как!  
– Не смей говорить мне, кто меня поимеет, а кто нет. Ты вообще соображаешь, с кем говоришь? Я тебе не одна из твоих улиток, Лепеллье.  
Он снова начал смеяться.  
– О, ты всегда был «хозяином поместья», да? Важная шишка – до тех пор, пока дело не доходит до расплаты. А в душе ты безжалостный. Я всегда это знал, только не хотел верить. Но за последние несколько недель, – его взгляд снова заполонило отчаяние, – я поверил в чертову кучу вещей. Это касается не тебя, не обольщайся. О тебе я и не думал. Какого черта мне о тебе думать? Ты, например, когда-нибудь думал обо мне? Я думал о себе, и о маме, и о своем старике, о том, чтобы они были довольны. Ладно, забудь. Сейчас речь о тебе. Как о безжалостном в душе человеке. Как о человеке... – в его невидящих глазах снова отразилось крайнее волнение, а рот сложился в коварную ухмылку, – человеке, который столкнул Финни с дерева.  
Я вскочил со стула.  
– Ты чокнутый тупой ублюдок...  
Он продолжал смеяться.  
– ...как о человеке, который искалечил ему жизнь.  
Я вскинул ногу на уровень кресла, в котором он сидел, и пнул его. Чумной перевернулся вместе с креслом и рухнул на пол. Смеясь и плача, он лежал затылком на полу, согнутыми коленями кверху.  
– ...Ты всегда был в душе безжалостным хамом.  
На лестнице послышались торопливые шаги, и его мать, полная, мягкая, кроткая на вид женщина, дрожа, появилась на пороге.  
– Господи! Что случилось? Элвин!  
– Мне страшно жаль... Я не хотел. – Я слышал себя словно со стороны. – Он сказал нечто ужасное. Я не сдержался... Я забыл, что у него что-то с нервами. Так ведь? Он сам не понимал, что говорит.  
– Боже милостивый, да, мальчик болен.  
Мы вместе подошли, чтобы помочь захлебывавшемуся слезами Чумному встать.  
– Ты что, приехал, чтобы обидеть его?  
– Простите ради бога, – пробормотал я. – Я лучше пойду.  
Миссис Лепеллье, поддерживая сына, повела его к лестнице.  
– Не уезжай, – произнесла она, всхлипывая, – оставайся на ланч. У нас в доме всегда можно на него рассчитывать. Война – не война, мы едим три

раза в день.

И я остался. Иногда бывает слишком стыдно взять и уйти. Как было мне тогда. А иногда позарез нужно узнать что-то, и ты остаешься, тупо и покорно. Тоже как я тогда.

Это был изобильный вермонтский ланч, больше похожий на обед, и поначалу он казался нереальным, как застолье на театральной сцене. Чумной почти ничего не ел, зато мой разгулявшийся аппетит лишь усугублял мой позор. Я проглатывал все, до чего мог дотянуться, а потом, краснея от стыда, просил передать мне еще того или другого. Однако это произвело тот самый эффект, в который бывает трудно поверить: миссис Лепеллье начинала благоволить ко мне, потому что ее стряпня мне нравилась. К концу ланча она уже даже была в состоянии говорить со мной напрямую взволнованным, но добродушным голосом с переливами интонаций; я же в течение всего застолья был крайне смущен, неловок, и все мое поведение сводилось к тому, что я бессвязно бормотал бесконечно длинное расплывчатое извинение, которое, судя по всему, миссис Лепеллье приняла, когда предложила мне второй десерт.

«В душе он хороший мальчик, – скорее всего, думала она, – просто у него бурный темперамент, он не умеет владеть собой, но он раскаивается, и, в сущности, он мальчик хороший».

Чумной был ближе к истине.

После ланча миссис Лепеллье предложила нам прогуляться. Теперь Чумной был – само послушание и, если не считать того, что он упорно не смотрел на мать, казался идеальным сыном. Поэтому он надел на себя первое, что попало под руку – какие-то разномастные прорезиненные, шерстяные и фланелевые одежды, – все, что могло защитить от секущего ветра. Мы через заднюю дверь вышли под уже слабеющее, но все еще великолепное солнце. Новая Англия не была у меня в крови, я был гостем в этом краю, пусть к тому времени уже и освоившимся, и при виде мертвого зимнего поля я не мог не думать о том, как это неестественно. Я бродил бывало по такому полю, пытаясь понять, росла ли на нем пшеница, или это было пастбище, или что-нибудь еще, и в самой глубине сознания, где все определяется пятью основными чувствами и первобытными предощущениями, был уверен, что никогда ничего здесь больше не вырастет. Вот и сейчас мы гуляли по одному из таких заснеженных просторов, каждый наш шаг проламывал тонкую ледяную корку, и нога утопала в мягком слое снега, лежавшего под ней; я ждал, когда Чумной, в этом продуваемом всеми ветрами ландшафте, который он так любил, снова придет в себя. Так же как я знал, что на этих полях больше никогда ничего

не взойдет, знал я и то, что Чумной здесь, среди холмов Вермонта, не сможет быть ни буйным, ни жестоким, ни психопатом. Я практически не сомневался в этом и даже спросил, рискнув вызвать его на разговор, более того, на разговор об армии:

– В Вермонте есть какая-нибудь военная база?

– Не думаю.

– Должна быть. И они обязаны были послать тебя туда. Тогда бы твои нервы не сдали.

– Ну да, – сдавленным голосом ответил он. – Именно так они это и называют: «нервозность, вызванная службой».

Я нарочито весело рассмеялся.

– Так они это называют?

Чумной не потрудился ответить. Прежде он всегда вежливо подхватывал подобные замечания чем-то вроде «Ага, именно так они это и называют», но сегодня лишь задумчиво посмотрел на меня и ничего не сказал.

Мы продолжали идти, ледяной наст тревожно хрустел под нашими ногами.

– «Нервозность, вызванная службой», – повторил я. – Звучит как название стихотворения Бринкера.

– Ублюдок!

– Видел бы ты Бринкера сейчас, он совершенно изменился...

– Даже если бы этот ублюдок превратился в Белоснежку, его нутро не изменилось бы.

– Ну в Белоснежку он не превратился.

– Жаль, – снова зазвучал сдавленный смех Чумного. – Представь: Белоснежка с физиономией Бринкера. Вот это картинка! – И тут он разрыдался.

– Чумной! Что с тобой? В чем дело, Чумной? Чумной!

Из груди Чумного вырывались хриплые отрывистые всхлипы, казалось: еще немного – и он зальет слезами все свои деревенские одежды.

– Чумной! Чумной! – Этот откровенный выплеск эмоций с его стороны сблизил нас помимо нашей воли; сейчас я был ему, а он мне самым близким человеком в мире. – Чумной, ради бога, Чумной! – Я и сам был готов расплакаться. – Не надо, ну не надо. Не плачь. Перестань, Чумной.

Когда рыдания стали тише – не то чтобы уменьшилась степень его отчаяния, просто он изнемог от слез, – я сказал:

– Прости, что я упомянул Бринкера. Я не знал, что ты его так

ненавидишь. – Чумной не был похож на человека, способного испытывать такую ненависть. Особенно теперь, когда дыхание вырывалось из него частыми струйками пара, как из трубы надрывающегося паровоза, нос и глаза опухли, а щеки вспыхнули неровными багровыми пятнами – кожа у него была такая тонкая и светлая, что легко покрывалась нездоровым ярким румянцем. Сейчас он весь расцвел таким образом, но это не придавало ему горестного вида. В своем разномастном прикиде, с покрытым пятнами лицом, он выглядел не доведенным до отчаяния и исполненным ненависти человеком, а полузагримированным клоуном.

– На самом деле я не так уж ненавижу Бринкера, не так уж я его ненавижу – не больше, чем кого-нибудь другого. – Его наполненные слезами глаза внимательно изучали меня. Ветер поднял и пронес мимо нас огромный снежный вихрь. – Просто... – он так резко втянул в себя воздух, что даже послышался свист, – я представил себе его лицо на женском теле. А это и сделало меня психом – такие вот глюки. Не знаю. Может, они и правы. Наверное, я действительно псих. Наверное. Должно быть. У тебя такие глюки когда-нибудь были?

– Нет.

– А если бы были, тебя бы это напугало, ну если бы ты постоянно воображал себе мужскую голову на женском теле или если бы подлокотник кресла, если смотреть на него очень долго, превратился в человеческую руку, или еще что-нибудь такое? Ты бы испугался?

Я ничего не ответил.

– Может, все воображают себе такие вещи, впервые оказавшись далеко от дома, по-настоящему далеко. Ты так не думаешь? На первой базе, куда я попал, она называлась «призывным центром», нас каждое утро поднимали в кромешной темноте, кормили такой едой, какую мы здесь просто выбрасываем, а всю мою одежду забрали и выдали взамен форму, которая даже пахла как-то незнакомо. Потом нас гнали на начальную военную подготовку, и я весь день хотел спать. И постоянно засыпал – на лекциях, на стрелковом полигоне, везде. А по ночам, наоборот, не спал. Рядом со мной лежал человек, который кашлял так, будто его желудок вот-вот поднимется к горлу, он выкашляет его через рот, и желудок плюхнется на пол. Он всегда лежал лицом ко мне. Мы спали валетом, но я знал, что его желудок приземлится у моего лица. Поэтому я никогда не спал по ночам. А днем, поскольку не мог есть эти отбросы в солдатской столовой, всегда ходил голодным. Солдатская столовая. В армии для всего есть свои точные названия, ты никогда об этом не думал?

Я неопределенно кивнул и одновременно покачал головой: и да, и нет.

– А точное название для меня, – добавил он искаженным голосом, словно у него распух язык, – психопат. Думаю, психопат я и есть. Наверняка. Или это не я психопат, а сама армия? Потому что там все выворачивают наизнанку. В постели я спать не мог, значит, надо было спать повсюду в других местах. В солдатской столовке я есть не мог, значит, надо было есть где-нибудь еще. Все начинало переворачиваться с ног на голову. Вот тогда-то все и началось. Однажды я не смог понять, что происходит с лицом капрала. Оно постоянно менялось, превращаясь в лица, которые я видел где-то в других местах, а потом мне стало казаться, что он похож на меня, а потом он... – голос Чумного понизился до неузнаваемости, – он превратился в женщину, я видел его так же близко, как вижу сейчас тебя, и его лицо превратилось в женское, тут я заорал, чтобы все тоже на это посмотрели, я не хотел быть единственным, кто это видит, и я вопил все громче и громче, чтобы меня наверняка услышали все вокруг... Ты же видишь, никакого помешательства в этом нет, правда? У меня были все основания для того, что я делал, разве не так? Но я не мог кричать достаточно быстро и достаточно громко, и когда ко мне наконец все же кто-то подошел – это был тот самый человек, который спал на соседней койке и надрылся от кашля, – у него в руках была вроде бы метла, потому что мы убрали казармы, но я отчетливо увидел, что это не метла, это была отрезанная мужская нога. Я еще подумал, что он, наверное, помогал в госпитале при ампутации, когда услышал мой крик. Ты же видишь: здесь все логично. – Ледяной наст у нас под ногами продолжал трещать, а когда мы дошли до края поля, стали потрескивать от холода и замерзшие деревья. И два этих резких звука показались мне доносящейся издали ружейной стрельбой.

Я молчал, а Чумной, который уже и так много наговорил, перекрикивая шум ветра и треск, продолжал свою нескончаемую историю.

– Потом меня схватили, вокруг замельтешили руки, ноги, головы, и я не мог разобрать, когда каждую минуту...

– Замолчи!

Тише, неуверенней, он повторил:

– ...когда каждую минуту...

– Думаешь, я хочу слышать все эти кровавые подробности?! Заткнись! Мне это неинтересно! Мне неинтересно, что с тобой случилось, Чумной. Мне наплевать! Ты это понимаешь? Это не имеет ко мне никакого отношения! Вообще никакого! Мне все равно!

Я развернулся и неуклюже побежал через поле в обход его дома, устремившись на дорогу, которая вела назад, в город. Я оставил Чумного



излагать свою историю ветру. Он мог рассказывать ее бесконечно, но мне было все равно. Я больше не хотел этого слышать. Ни сейчас, ни потом. Мне было наплевать, потому что его история не имела ко мне никакого отношения. И я не хотел больше ее слышать. Никогда.

## Глава 11

Я хотел видеть Финеаса, и только Финеаса. С ним у нас не было никаких столкновений, кроме спортивных, так сказать, греко-олимпийских, когда победа достается тому, кто окажется сильнее телом и духом. Это вообще был единственный конфликт, который он признавал.

Вернувшись, я застал Финни в разгаре снежного боя на площадке, которая называлась Поле на задворках. В Девоне открытым игровым пространствам между зданиями дали сугубо английские, весьма причудливые названия: Центральный общественный выгон, Дальний общественный выгон и Поле на задворках. Это последнее находилось за спорткомплексом, за теннисными кортами, за рекой и стадионом, на границе леса, который, несмотря на английское название, в моем представлении был первобытным американским лесом, простиравшимся сплошной массой далеко на север, в великие северные просторы девственной природы. Там-то, на границе леса, я увидел Финни в пылу игры и сражения – эти понятия были для него в сущности синонимами – и подумал: не проще ли, не спокойней ли там, на северной оконечности этих лесов, в тысяче миль прямо на север, в дикой местности, где-нибудь в глубине Арктики, там, где лесной массив, начинающийся в Девоне, заканчивается первозданными сосновыми дебрями, суровыми и прекрасными.

Теперь я знаю, что никаких таких дебрей нет, но в то утро своего возвращения в Девон я воображал, что они там, сразу за видимым горизонтом, ну, или за следующим.

Несколько участников снежного сражения остановились, чтобы поприветствовать меня, но никто не прекратил игру, чтобы спросить о Чумном. Я понимал, что не следует мне задерживаться там: в любой момент кто-то все же мог поинтересоваться.

Битва была, без сомнения, организована Финеасом. Кто еще мог бы завлечь двадцать человек на дальний край школьной территории, чтобы покидаться снежками? Я представлял, как после десятичасового урока он с непререкаемо авторитетным видом, который принимал всегда, когда его посещала какая-нибудь особенно причудливая идея, собирает компанию. И вот они все здесь, сливки школьного сообщества, светочи и лидеры старшего класса, со своим высоким ай-кью и в дорогой обуви, как выражался Бринкер, обстреливают друг друга снежками.

Я колебался, стоя на границе сражения и леса, слишком спуталось у меня все в голове, чтобы ступить либо в то, либо в другое. Поэтому я взглянул на часы, с театральным испугом прикрыл рот ладонью, словно вдруг вспомнил о чем-то срочном и важном, повторил эту пантомиму для тех, кто, возможно, пропустил ее в первый раз, и с этим безмолвным объяснением поспешно направился обратно к школе. Снежок настиг мой затылок, а следом раздался голос Финни:

– Эй, даже если у тебя действительно есть какое-то вшивое дело, ты в нашей команде. Нам нужен хоть кто-нибудь еще. Даже ты сойдешь.

Он подошел ко мне, без палочки, его новый, облегченный гипс был настолько тоньше и эластичней прежнего, что в нем можно было ходить, лишь едва заметно прихрамывая. Однако координация движений у Финни явно была нарушена, малейший изъязн поверхности под ногами давал о себе знать; его походка сделалась прерывистой, как барабанная дробь, словно он на каждом шагу на долю секунды забывал, куда идет.

– Как Чумной? – небрежно поинтересовался он.

– Ну, Чумной... как он может быть? Ты же знаешь Чумного...

Сражение приближалось к нам; я чуть-чуть отклонился, и длинная очередь снежков угодила Финни в голову, он стрельнул в ответ, я подхватил с земли снежный боеприпас, и в следующий миг мы уже были втянуты в гущу боя.

Меня сбили с ног; я опрокинул Бринкера через невысокий сугроб; кто-то попытался схватить меня сзади. У всех от промокшей от распаренного тела одежды исходил дух жизненной энергии; какую-то витальность, которую высвобождает весна, излучали шерсть, фланель, вельвет. Я уж и забыл, что он существует, этот запах, который еще до первой ласточки, до первой набухшей почки оповещает о приближении весны. Я всегда радовался жизненной энергии и теплу, начинавшим испаряться от толстых и плотных зимних одежд. Вот и теперь почувствовал прилив счастья, но меня не переставала тревожить мысль о предстоящей весне: будет ли у военной формы цвета хаки, или летнего обмундирования, или какая там положена для весеннего сезона экипировка, эта аура обещания? Я был почти уверен, что не будет.

Характер сражения начал меняться. Финни рекрутировал в союзники меня и несколько других мальчиков, так что оно приобрело настрой противостояния стенка на стенку. Однако внезапно он перенаправил огонь на меня, предал еще несколько бывших «однополчан» и принял другую сторону, сторону Бринкера – на время короткое, но достаточное, чтобы, покинув и новых союзников, усугубить общий хаос. Все безнадежно

смешалось, уже никто не понимал, где чья команда. Теперь не могло быть ни победителей, ни побежденных. Посреди этой неразберихи даже Бринкер утратил свой командирский дух и тоже стал ненадежным, как араб, и злокозненным, как евнух. Битва закончилась единственным возможным результатом: все обратились против Финеаса. Медленно, с улыбкой, которая становилась все шире, он отступал под градом искрящихся снежков.

Когда он сдался, я весело склонился над ним, чтобы помочь ему встать, и, схватив за запястье, предотвратил последний предательский бросок снежком, который был зажат у него в руке.

– Ну что ж, думаю, теперь мы сможем разгромить гитлерюгенд<sup>[22]</sup>, вышедший в однодневный поход, – заметил он.

Все рассмеялись. На обратном пути в спорткомплекс он сказал:

– Хорошая была битва. Очень веселая, ты согласен?

Спустя несколько часов мне пришлось спросить у него:

– А ты думаешь, тебе можно принимать участие в подобных битвах?

Ведь твоя нога...

– Стэнпоул говорил что-то насчет того, чтобы я больше не падал, но я очень осторожен.

– Господи, не хватало тебе снова ее сломать!

– Нет, конечно же, я больше ее не сломаю. Разве кость не становится крепче в том месте, где она срослась после перелома?

– Да, наверное.

– Я тоже так считаю. Я даже чувствую, как она становится крепче.

– Думаешь, это можно почувствовать?

– Да, я так думаю.

– Слава богу.

– Что?

– Я сказал, что это очень хорошо.

– Да, конечно. Уверен, что это хорошо.

Тем вечером после ужина Бринкер явился к нам с очередным официальным визитом. К концу учебного года наша комната имела обшарпанный вид места, где два человека слишком долго жили, не обращая никакого внимания на то, что их окружает. Наши койки под красно-коричневыми хлопковыми покрывалами, стоявшие у противоположных стен, были продавлены. Стены, далеко не такие белые, как положено, отражали наши забытые теперь интересы: над койкой Финни были скотчем

приклеены газетные фотографии встречи Рузвельта и Черчилля («Это два самых важных старика, – объяснял он, – которые собрались, чтобы придумать, что врать нам о войне дальше»). Я над своей постелью давным-давно прищипил картинки, которые были призваны явить миру наглуую ложь о моем происхождении, – слезливо-романтические виды плантаторских усадеб, поросшие мхом деревья под луной, лениво извивающиеся между негритянскими лачугами пыльные дороги. Когда меня спрашивали о них, я изображал акцент, свойственный жителям города, расположенного тремя штатами южнее моего родного, и, не утверждая этого прямо, давал понять, что это мое старое родовое гнездо. Но к настоящему времени у меня уже не было нужды в этой живописно-фальшивой самобытности; я обрел ощущение своего собственного реального веса и достоинства, набрался нового опыта и повзрослел.

– Как Чумной? – поинтересовался Бринкер, входя.

– Да, – подхватил Финneas, – я тоже хотел об этом спросить.

– Чумной? Ну, он... он в отпуске. – Однако собственное отвращение к тому, что я вводил людей в заблуждение, уже не давало мне покоя. – По правде говоря, он в самоволке, просто удрал.

– Чумной?! – одновременно воскликнули оба.

– Да. – Я пожал плечами. – Чумной. Он больше не тот крольчонок, которого мы знали.

– Никто не может так измениться, – сказал Бринкер своим недавно приобретенным безапелляционным тоном.

– Бьюсь об заклад, что ему просто не понравилось в армии, – сказал Финни. – Да и чему там нравиться? Какой в ней смысл?

– Финneas, – с достоинством произнес Бринкер, – пожалуйста, избавь нас на этот раз от своих инфантильных лекций о международном положении. – И, обращаясь ко мне, добавил: – Ему просто было страшно там оставаться, да?

Я прищурился, как будто глубоко задумался над ответом, и наконец сказал:

– Да, думаю, можно и так сказать.

– Он запаниковал.

Эту реплику я оставил без ответа.

– У него, наверное, крыша съехала, если он это сделал, – энергично заявил Бринкер. – Держу пари, он просто спятил, да? Вот что случилось. Чумной обнаружил, что армия – это для него слишком. Я слышал о таких парнях. Наступает момент, когда они утром не встают с постели вместе со всеми, а просто лежат и плачут. Спорим, что с Чумным произошло нечто

подобное. – Он посмотрел на меня. – Я прав?

– Да. Прав.

Бринкер так энергично, с таким энтузиазмом добивался правды, что я выдал ее ему без особых колебаний. И как только Бринкер ее получил, он разразился причитаниями:

– Черт бы меня побрал! Будь я проклят! Старина Чумной. Тихий добрый Чумной. Безответный старина Чумной из Вермонта. Он же совершенно не приспособлен ни к какой борьбе. Должен же был кто-то понять это, когда он собрался записываться в армию. Бедняга Чумной. Как он себя ведет?

– Много плачет.

– О господи. Что за напасть на наш класс! Еще и июнь не наступил, а у нас уже двое вне игры.

– Двое?

Бринкер на секунду замялся.

– Ну, еще же Финни.

– Да, – согласился Финни своим самым глубоким и самым музыкальным голосом, – еще и я.

– Финни не вне игры, – сказал я.

– Конечно, вне.

– Да, я вне игры, – подтвердил Финни.

– Было бы вне чего быть! – Я постарался, чтобы выражение моего лица соответствовало задушевности голоса. – Это же не война, а просто жульничество, сварганенное старичьем... – Произнося свою тираду, я не сводил глаз с Финни, но у меня быстро кончился заряд. Я ожидал, что он подхватит мои слова, привычно развернет историю о государственных деятелях-заговорщиках и обманутой публике, повторит свою знаменитую шутку, поддаст миру под зад. Но он сидел, упершись локтями в колени и глядя в пол. Потом он поднял свои широко расставленные глаза, улыбка вспыхнула и тут же потухла на его лице, и он тихо пробормотал:

– Конечно. Никакой войны нет.

Это было одно из немногих ироничных замечаний, какие когда-либо делал Финеас, им он положил конец всем своим затейливым выдумкам, которые поддерживали нас всю зиму. Отныне факты были восстановлены в правах, и остались в прошлом все фантазии вроде Олимпийских игр тысяча девятьсот сорок четвертого года от Рождества Христова, закрывшиеся, не успев открыться.

Мало чего осталось в Девоне такого, что не было бы поставлено на

службу войне. Немногие случайные виды деятельности и нескольких людей не от мира сего, не вовлеченных в военный водоворот, планомерно опекал Бринкер. И каждый день в часовне объявляли о наборе на курсы V–12<sup>[23]</sup> подготовки офицерского состава, которые командование Военно-морских сил учредило при многих колледжах и университетах. Объявления звучали совершенно безобидно, мирно, как будто речь шла просто об учебе в обычном колледже. Курсы были повсюду очень популярны; на них поступали группы численностью с команду военно-транспортного судна – почти все, кто проходил отбор, за исключением немногих «хотевших летать» и выбиравших Военно-воздушные силы или нечто под шифром V–5. Было еще несколько человек, имевших энергичных отцов, эти ожидали зачисления в Аннаполис<sup>[24]</sup>, Вест-Пойнт<sup>[25]</sup>, Академию береговой охраны США или даже – эта перспектива открылась неожиданно – в Военно-морскую торговую академию. По традиции Девон был самой штатской из школ, и в отношениях между преподавательским составом и учениками, с одной стороны, и затынутыми в ремни и портупей офицерами-вербовщиками, регулярно появлявшимися в кампусе, с другой, наблюдалась некоторая враждебность. В нас не было тайного снобизма, и в них мы его не замечали. Просто мы ощущали естественное глубинное различие между ними и нами, различие, которое и мы, и они с неуклюжим упорством старались преодолеть. Как будто Афины и Спарта вознамерились заключить не просто перемирие, а союз – хотя мы были не столь цивилизованы, как афиняне, а они – не так храбры, как спартанцы.

Да и мы храбростью не блистали. Никто не рвался в бой; похоже, ни у кого не было желания записаться в пехоту, и только несколько человек поговаривали о военно-морской службе. Все тщательно оберегали свои планы и держали их при себе. Война обещала быть долгой. У Квакенбуша, как я слышал, было два направления: в военную академию и запасное – в стоматологическую школу, на случай необходимости отступления.

Я сам не предпринимал никаких действий, не чувствовал себя свободным действовать и не понимал почему. У Бринкера в его стремительной трансформации от абсолютных ценностей к относительным возникал один план за другим, причем каждый последующий уводил его дальше от полей сражений, чем предыдущий. А я не делал ничего.

Однажды, после того как утром в часовне морской офицер привлек внимание многих учеников выступлением, посвященным службе в морских конвоях, Бринкер на выходе, в вестибюле, положил руку мне на затылок и

подтолкнул меня в комнату, предназначенную для занятий на фортепьяно. Комната была оборудована звукоизоляцией, а арочную дверь он за собой плотно закрыл.

– Ты ведь откладываешь поступление в армию по одной-единственной причине, – с ходу заявил он. – Сам знаешь по какой, правда?

– Нет, не знаю.

– Ну, так я знаю. И скажу тебе. Из-за Финни. Ты его жалеешь.

– Жалею?!

– Да, жалеешь. И если ты не изменишь своего к нему отношения, он начнет сам себя жалеть. Заметил, что кроме меня никто никогда не упоминает о его ноге? Если так будет продолжаться, он со дня на день впадет в слезливую сентиментальность. Чего ради все так церемонятся? Он калека, это факт. И ему нужно с этим смириться, но он никогда этого не сделает, если мы не начнем вести себя с ним естественно, даже подшучивать иногда над его увечьем.

– Ты несешь такую чушь, что я не могу даже... не хочу слушать тебя. Бред какой-то.

– Тем не менее, я намерен впредь поступать именно так.

– Нет. Ты этого не сделаешь.

– Черта с два. И твое разрешение мне не требуется.

– Я его сосед по комнате и лучший друг...

– И ты был там, когда это случилось. Я знаю. Но мне на это плевать. И не забывай, – он сурово посмотрел на меня, – ты сам в этом заинтересован. Я имею в виду, что тебе самому было бы лучше, если бы все, что касается несчастного случая с Финни, выяснилось и было забыто.

Я почувствовал, что мое лицо исказила такая же гримаса, какая появлялась на лице Финни, когда его что-то особенно раздражало.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Не знаю. – Он пожал плечами и хмыкнул. – И никто не знает. – Потом многозначительное выражение исчезло с его лица, и он добавил: – Если только не ты сам. – Его губы сжались в прямую линию, лицо утратило всякое выражение, и больше он не сказал ничего.

Я понятия не имел, что может сказать или сделать Бринкер. Прежде он всегда говорил и делал все, что приходило ему в голову, потому что не сомневался: он во всем прав. В мире дискуссионного клуба «Золотое руно» и Комитета по делам детей из малообеспеченных семей это никаких проблем не создавало. Но теперь меня пугала его непреклонная прямолинейность.



Вернувшись из часовни, я застал Финни в общезитии, он перекрыл лестницу, и все, кто хотел подняться наверх, должны были под его руководством петь гимн «Могучая крепость – наш Бог». Не было на свете другого начисто лишённого слуха человека, который любил бы музыку так, как Финеас. Похоже, увечье усугубило его любовь; он обожал все без разбору – Бетховена, последний лирический шлягер, джаз, церковные гимны... Все это было для Финеаса глубоко музыкально.

«Когда враг окружает, нахлынув, как поток... – неслось над полем в темпе футбольного марша, – его Ты побеждаешь, рассеяв, как песок».

– Все было хорошо, – сказал в конце Финни, – фразировка, ритм и все такое. Но я не уверен в тональности. Навскидку я бы сказал, что нужно произносить на полтона ниже.

Мы пошли к себе в комнату. Я сел за перевод Цезаря, который делал для Финни, поскольку ему предстояло сдать экзамен по латыни, без этого он не получил бы аттестата. Мне казалось, что я оказываю ему весьма полезную услугу.

– Происходит ли там что-нибудь волнующее? – спросил он.

– По-моему, эта глава довольно интересна, – ответил я, – если я правильно ее понимаю. Она о внезапном нападении.

– Почитай мне.

– Ну, давай посмотрим. Начинается так: «Когда Цезарь увидел, что враги уже несколько дней остаются в своем лагере, прикрытом болотом и от природы защищенном, он послал письмо Требонию с приказом...» В тексте нет «с приказом», но это подразумевается, ты ведь знаешь.

– Конечно. Давай дальше.

– «...с приказом идти с тремя легионами ускоренным маршем на соединение с ним». «С ним» значит с Цезарем, конечно.

Финни посмотрел на меня стеклянным взглядом и сказал:

– Конечно.

– Итак, «...с приказом идти с тремя легионами ускоренным маршем на соединение с ним; сам же он... – то есть Цезарь, – послал кавалерию для отражения внезапных неприятельских набегов. Теперь, когда галлы поняли, что происходит, они послали отряд своих отборных пеших воинов, чтобы устроить засады; и те, несмотря на потерю своего начальника Вертиска, настигли наших конников, привели их в замешательство и гнали до самого лагеря».

– Сдается мне, это то самое, что мистер Хорн называет «грязным переводом». Что это значит?

– Что дела у Цезаря в тот раз пошли не лучшим образом.

– Но он же в конце концов победил.

– Разумеется. Если ты имеешь в виду кампанию в целом... – Я запнулся. – Он победил, если ты веришь, что Галльская война происходила в действительности...

С самого начала Цезарь был исторической личностью, в существование которой Финneas категорически отказывался верить. Затерянный в глубине двух тысячелетий, носитель мертвого языка и повелитель мертвой империи, проклятие и бич всех школьников, Цезарь, по его мнению, был бóльшим тираном для Девона, чем некогда для Рима. Финneas совершенно искренне «имел личный зуб» на Цезаря и злился главным образом из-за того, что был убежден: ни Цезаря, ни Рима, ни латинского языка в мире никогда не существовало...

– Если ты веришь, что некий Цезарь когда-либо действительно жил, – добавил я.

Финни встал с койки, поразмыслив, взял палку и странно посмотрел на меня. Мне показалось, что он сейчас рассмеется.

– Естественно, я не верю книгам и не верю учителям. – Он сделал несколько шагов. – Но я верю – и это для меня важно – тебе. Я знаю, что ты – лучше всех. – Я ждал, не произнося ни слова. – И ты рассказал мне о Чумном – что он сошел с ума. Поэтому пришлось это признать. Чумной сошел с ума. И вот когда я это понял, я осознал, что война реально существует, и эта, и все остальные. Если война может кого-то свести с ума, то она реальна. Да, наверно, я всегда это знал, но не принимал. – Он положил ногу – маленький гипсовый слепок с металлической пластиной под ступней для ходьбы – на койку возле меня. – Признаться честно, вначале, когда ты рассказывал мне о Чумном, у меня возникли сомнения скорее на твой счет. Конечно, я тебе поверил, – поспешно добавил он, – но ты, знаешь ли, человек нервный, и я подумал: может, у тебя немного воспалилось воображение там, в Вермонте? Может, Чумной не такой уж чокнутый, как тебе показалось? – Финни попытался подготовить меня к тому, что собирался сказать дальше: – А потом я сам увидел его.

Я не поверил своим ушам.

– Ты видел Чумного?!

– Я видел его сегодня утром, после службы. Он... ты знаешь, у меня воображение не воспаленное, но я видел Чумного, прятавшегося в кустах возле часовни. Я выскользнул через боковую дверь, как обычно – чтобы избежать толкучки, – и увидел Чумного, он наверняка тоже меня заметил, но не сказал ни слова. Просто смотрел на меня так, будто я – горилла или еще кто-нибудь вроде того, а потом нырнул в офис мистера Кархарта.

– Наверное, он сбрендил, – произнес я машинально, а потом невольно встретился взглядом с Финни, и мы оба вдруг расхохотались.

– С этим мы ничего не можем поделать, – скорбно сказал он.

– Я не хочу его видеть, – пробормотал я. Потом, стараясь казаться более спокойным, добавил: – Кто еще знает, что он здесь?

– Думаю, никто.

– Мы действительно ничего сделать не можем. Вероятно, мистер Кархарт или доктор Стэнпоул что-нибудь придумают. Нам не следует никому ничего говорить, потому что... потому что они только напугают Чумного, а он – их.

– Так или иначе, – продолжил Финни, – в тот момент я понял, что война – настоящая.

– Да, думаю, эта война настоящая. Но твоя мне нравилась больше.

– Мне тоже.

– Я бы предпочел, чтобы ты ничего такого не понял. Зачем ты это сделал? – Мы снова принялись хохотать, обмениваясь чуть виноватыми взглядами, как два человека, последний раз видевшие на беспутной пьянке, а теперь встретившиеся на чаепитии в доме священника.

– И все же, – сказал он, – ты прекрасно выступил на Олимпийских играх.

– А ты был величайшим политическим комментатором всех времен и народов.

– Ты отдаешь себе отчет в том, что завоевал все золотые медали во всех видах спорта? Никто в истории человечества ничего подобного не совершал.

– А ты был автором всех сенсаций во всех газетах мира. – Солнце гримасничало и плясало между миллионами пылинок, висевших в воздухе между нами, и отбрасывало сверкающую зыбкую лужицу света на пол. – Никто никогда в жизни не делал ничего подобного.

Бринкер в сопровождении трех соратников в большом волнении явился к нам в комнату тем вечером в десять ноль пять.

– Идемте с нами, – сказал он решительно.

– Уже был отбой, – возразил я.

– Куда? – одновременно спросил Финни с большим интересом.

– Увидите сами. Ведите их. – Его друзья бесцеремонно приподняли нас и потащили к лестнице. Я думал, что намечается какой-нибудь грандиозный финальный розыгрыш: старший класс покидает школу под фанфары – мы украдем язык школьного колокола или привяжем корову в часовне.

Но они повели нас к Первому корпусу – несколько раз горевшему и восстанавливавшемуся, но всегда называвшемуся Первым корпусом Девонской школы. В нем находились только классные комнаты, поэтому в столь поздний час он пустовал, что заставило нас почувствовать себя еще свободнее. Внушительная связка ключей, оставшаяся у Бринкера, с тех пор как он был старостой класса, тихо звякнула, когда мы подошли к парадной двери, над которой красовалась латинская надпись: «Сюда приходят мальчики, чтобы стать мужчинами».

Ключ повернулся в замке, мы вошли и очутились в зыбкой, сомнительной реальности вестибюля, виденного нами только в дневном освещении и при большом стечении людей. Звук наших шагов предательски отражался от мраморного пола. Мы проследовали через вестибюль к призрачной анфиладе окон, по бледному маршу мраморных ступеней повернули налево, еще раз налево, прошли через двое дверей и очутились в актовом зале. Одна из знаменитых девонских люстр с подвесками в виде мерцающих «слез» сеяла тусклый свет с высокого потолка. Через весь зал, ряд за рядом, вплоть до высоких смутно просматривавшихся окон, тянулись черные скамьи в колониальном стиле. В дальнем конце был устроен помост, отгороженный от зала невысокой балюстрадой. На помосте сидело человек десять старшеклассников, все в черных выпускных мантиях. Наверное, будет что-то вроде школьного маскарада, подумал я, с масками и свечами.

– Вы все видите, как хромает Финеас, – громко произнес Бринкер, когда мы вошли. Получилось слишком громко и слишком грубо; мне захотелось двинуть ему как следует. Финеас был ошеломлен. – Садитесь, – продолжил Бринкер, – в ногах правды нет. – Мы сели в первом ряду, где уже устроились восемь-десять других учеников, смущенно улыбающихся тем, которые возвышались на помосте.

Что бы ни задумал Бринкер, место он выбрал ужасное. В актовом зале не было ничего забавного. Я вспомнил, как сотни раз тупо таращился через эти окна на вязы Центрального выгона. Окна, затянутые чернотой ночи, приобрели мертвенный вид – были слепы и глухи. На обширном пространстве стен неясно вырисовывались очертания картин – портретов маслом покойных директоров, одного или двух основателей школы, бывших заведующих кафедрами, какого-то легендарного спортивного тренера, которого никто из нас в глаза никогда не видел, некой дамы, совершенно нам неизвестной – благодаря ее наследству школа была существенно перестроена, – безымянного поэта, чье творчество, как считалось, когда он учился в этой школе, предназначалось в первую очередь грядущим

поколениям; какого-то юного героя, выглядевшего театрально в мундире времен Первой мировой, в котором он и погиб.

Я подумал, что в таком антураже любой розыгрыш обречен на провал.

Актный зал использовался для общих лекций, дебатов, спектаклей и концертов; из всех школьных помещений в нем была самая плохая акустика. Я не мог разобрать, что говорил Бринкер. Он стоял на полированном мраморном полу перед нами, но лицом к помосту, и обращался к сидевшим за балюстрадой. Я различил лишь слово «расследование» и что-то насчет «нужд родины».

– Что это за пустая болтовня? – сказал я.

– Не знаю, – коротко ответил Финneas.

Бринкер повернулся к нам, продолжая говорить:

– ...вина на партии, несущей ответственность. Начнем с короткой молитвы. – Он сделал паузу, обведя нас тем подозрительным взглядом, который использовал в такие моменты мистер Кархарт, и любезно пробормотал голосом того же мистера Кархарта: – Давайте же помолимся.

Мы все моментально и не задумываясь низко склонились, упершись локтями в колени и приняв позу, в которой обычно обращались к богу у нас в школе. Бринкер поймал нас врасплох, а в следующий момент уже было поздно отступить, потому что он поспешно начал читать «Отче наш». Если бы в тот момент, когда Бринкер произнес: «Давайте же помолимся», я ответил: «Иди ты к черту», все могло быть спасено.

Потом наступила робкая тишина, а спустя несколько секунд Бринкер произнес:

– Финneas, прошу.

Финни встал, пожав плечами, прошел вперед и встал между нами и помостом. Бринкер вытащил из-за балюстрады кресло и с изысканной вежливостью усадил в него Финнеаса.

– Просто своими словами, – сказал он.

– Какими своими словами? – спросил Финни, изобразив свою фирменную гримасу, означавшую «ты идиот».

– Я знаю, что их у тебя не особенно много, – со снисходительной улыбкой продолжил Бринкер. – Воспользуйся теми, которые ты узнал от Джина.

– О чем я должен говорить? О тебе? Для этого у меня есть куча собственных слов.

– Со мной все в порядке. – Словно желая заручиться подтверждением, Бринкер обвел всех мрачным взглядом. – Жертва – ты.

– Бринкер, – начал Финни сдавленным голосом, какого я никогда не

слышал, – ты что, умом тронулся, что ли?

– Нет, – спокойно ответил Бринкер, – умом тронулся Чумной, другая жертва. Но сегодня мы расследуем твоё дело.

– Что за ересь ты несешь, о чем речь?! – вдруг вклинился я.

– О несчастном случае с Финни. – Он говорил так, будто происходящее было делом естественным, самоочевидным и неизбежным.

Я почувствовал, как кровь ударила мне в голову.

– В конце концов, – продолжил Бринкер, – война на дворе. И вот один солдат, которого страна уже потеряла. Мы обязаны выяснить, что случилось.

– Просто для протокола, – подал голос кто-то с помоста, – ты ведь согласен с этим, Джин?

– Я сказал Бринкеру сегодня утром, – начал я предательски дрожащим голосом, – что считаю это худшей...

– А я ответил, – перебил меня Бринкер абсолютно спокойным и самоуверенным голосом, – что это послужит на благо Финни, – он добавил голосу искренности, – и тебе, кстати, тоже, Джин, если все будет до конца выяснено. Мы же не хотим, чтобы год заканчивался с какими-то тайнами, слухами и подозрениями, витающими в воздухе, правда?

Коллективный рокот согласия раздался в сумеречной атмосфере актового зала.

– Что ты несешь?! – Музыкальный голос Финни был исполнен презрения. – Какие слухи и подозрения?

– Это несущественно, – сказал Бринкер с важно-самоуверенным видом. Он этим упивается, с горечью подумал я, воображает себя воплощением Правосудия с весами в руке. Однако он забывает, что у Фемиды не только весы в руке, но и повязка на глазах. – Почему бы тебе просто своими словами не рассказать, что случилось? – продолжал Бринкер. – Ну, считай это просто блажью с нашей стороны, если хочешь. Мы вовсе не пытаемся кого-то в чем-то обвинить. Просто расскажи нам. Ты же знаешь, мы бы не стали тебя пытаться, если бы у нас не было на то оснований... серьезных оснований.

– Да нечего рассказывать.

– Нечего рассказывать?! – Бринкер выразительно посмотрел на загипсованную ногу Финни и палочку, зажатую у него между колен.

– А что? Я просто упал с дерева.

– Почему? – поинтересовался кто-то с помоста. Акустика в зале была настолько плохой, а свет настолько тусклым, что я чаще всего не мог увидеть, кто говорит, и разобрать, что говорят. Видеть и слышать я мог

только Бринкера и Финни, находившихся на широкой полосе мраморного пола между передними сиденьями и помостом.

– Почему? – повторил Финneas. – Потому что оступился.

– Ты потерял равновесие? – настаивал голос с помоста.

– Да, – решительно ответил Финни. – Я потерял равновесие.

– Ты всегда умел держать равновесие так, как никому в школе и не снилось.

– Большое спасибо за комплимент.

– Это вовсе не комплимент.

– Тогда забираю свою благодарность обратно.

– Ты никогда не думал, что не просто так упал с дерева?

Это затронуло интересную тему, которую Финneas, видимо, давно прокручивал в голове. Я это понял по тому, что упрямое выражение его лица сменилось растерянным.

– Забавно, – сказал он, – но с тех самых пор меня преследует чувство, будто дерево само это сделало. Тогда у меня было ощущение, как если бы дерево стряхнуло меня.

Слышимость в зале была настолько плохой, что даже тишина в нем казалась гулкой.

– Как будто на дереве был кто-то еще, да?

– Нет, – непроизвольно вырвалось у Финни. – Не думаю. – Он посмотрел в потолок. – Или был? Может быть, кто-то карабкался по стволу. Что-то я подзабыл.

На сей раз тишина стояла так долго, что я почувствовал: если она продлится еще немного, мне придется прервать ее, но тут послышался чей-то голос с помоста:

– Кажется, кто-то говорил, что Джин Форрестер был...

– Финни сам был там и знает все лучше, чем кто бы то ни было, – властно перебил Бринкер.

– Ты ведь тоже был там, Джин, правда? – не унимался голос с помоста.

– Да, – с интересом ответил я, – я тоже там был.

– Ты находился... возле дерева?

Финни посмотрел на меня.

– Ты был внизу, у подножия, правда? – спросил он не официальным, как в суде, тоном, каким говорил до того, а дружеским.

Я очень внимательно изучал свои сцепленные руки, не в силах поднять голову и встретить его вопросительный взгляд.

– Да, внизу.

– Ты видел, чтобы дерево покачнулось или еще что? – продолжил

Финни, слегка покраснев от нелепости собственного вопроса. – Я всегда хотел тебя об этом спросить, ну просто ради интереса.

Я сделал вид, что размышляю.

– Нет, не припоминаю ничего подобного...

– Дурацкий вопрос, – пробормотал он.

– А я думаю, что ты был на дереве, – вклинился голос с помоста.

– Ну конечно, – с раздраженным смешком ответил Финни. – Конечно, я был на дереве... или ты имеешь в виду Джина?.. Его там не было... ты хочешь сказать, что... или... – Мысли Финни металась между мной и моим дознавателем.

– Я имею в виду Джина, – подтвердил голос.

– Конечно, Финни был на дереве, – сказал я, но, чувствуя, что больше не могу терпеть собственное замешательство, добавил: – а я стоял у подножья или, может быть, уже начал карабкаться по колышкам...

– Как он может это помнить? – резко произнес Финни. – Там тогда такое началось...

– Когда мне было лет одиннадцать, – серьезно сказал Бринкер, – парнишку, с которым я играл, сбила машина, и я помню все до мельчайших подробностей: где я стоял, какого цвета было небо, скрежет тормозов... Я никогда не забуду ни одной мелочи.

– Ты и я – два разных человека, – сказал я.

– Никто тебя ни в чем не обвиняет, – странным тоном произнес Бринкер.

– Ну конечно, никто меня не обвиняет...

– Не надо так нервничать. – Он попытался достичь трудного компромисса с самим собой: в его голосе звучало предупреждение мне, и в то же время он изо всех сил старался, чтобы другие этого не заметили.

– Да нет, мы тебя не обвиняем, – спокойно сказал мальчик с помоста, но я так и остался стоять как подсудимый.

– Мне кажется, я вспомнил! – воскликнул Финни. В его горящем взгляде чувствовалось облегчение. – Да, я помню, что ты стоял на берегу. Ты смотрел вверх, волосы прилипли ко лбу, и у тебя был тот самый глупый вид, какой бывает всегда, когда ты бултыхаешься в воде... Что ты тогда сказал? «Кончай выпендриваться там» или что-то еще из своих обычных остроумных дружеских замечаний. – Он выглядел совершенно счастливым. – А я, наверное, начал выпендриваться еще больше, чтобы позлить тебя. Что я тогда сказал? Что-то насчет нас двоих... Ах да, я сказал: «Давай совершим двойной прыжок», потому что подумал: если мы спрыгнем вместе, это будет нечто такое, чего раньше никогда не было,



возьмемся за руки и прыгнем... – А потом вдруг как будто кто-то привел его в чувство пощечиной: – Нет, это было еще на земле, я сказал тебе это еще внизу. Я сказал тебе это, когда мы стояли на земле, а потом мы вместе начали карабкаться... – Он замолчал, не договорив.

– Вместе, – осипшим голосом произнес тот, с помоста. – Вы начали карабкаться вместе, так? А он только что сказал, что стоял на земле!

– Или лез по кольшкам, – выкрикнул я. – Я сказал, что, возможно, уже взбирался по кольшкам!

– Кто еще там был? – тихо спросил Бринкер. – Там ведь был еще Чумной Лепеллье, не так ли?

– Да, – ответил кто-то, – Чумной был там.

– Чумной всегда хорошо запоминал детали, – продолжил Бринкер. – Вот кто мог бы нам точно сказать, кто где стоял, что на ком было надето, кто что в тот день говорил и какая была температура воздуха. Он мог бы все прояснить. Жаль.

На это никто ничего не ответил. Финеас сидел неподвижно, чуть склонившись вперед, почти в той же позе, в какой мы всегда молились. Сидел довольно долго, потом поднял голову и неохотно посмотрел на меня. Я не ответил ему ни взглядом, ни жестом, ни словом. Наконец Финеас с трудом, словно это причиняло ему боль, выпрямился из своей моленной позы.

– Чумной здесь, – сказал он так тихо, с таким неосознанным достоинством, что показался мне вдруг пугающе чужим. – Я видел, как он сегодня утром входил в офис мистера Кархарта.

– Здесь?! Идите и приведите его, – тут же велел Бринкер двум ребятам, которые притащили нас сюда. – Если он еще не вернулся домой, он должен быть у мистера Кархарта.

Я молчал. Однако в уме машинально проделал серию быстрых умозаключений: Чумной опасности не представляет, никто ему не поверит; у Чумного нелады с головой, а когда у человека подобные проблемы, он не понимает даже, чего сам хочет, и, уж конечно, не может свидетельствовать в подобном деле.

Двое ребят отбыли, и атмосфера сразу перестала быть гнетущей: предпринято некое действие, так что развязка близка. Кто-то начал подкалывать «капитана Марвелла», призывая всех посмотреть, как он похож на девчонку в своей мантии. Марвел, капитан нашей футбольной команды, отмахивался руками и ногами двенадцатого размера, полы мантии взлетали, являя нам его крепкие бедра. Кто-то завернулся в красную бархатную штору и выглядывал из-за нее, словно какой-то придурочный

шпион. Кто-то произносил длинную речь, перечисляя все правила, которые мы нарушили в ту ночь. А еще кто-то объяснял, как, если все тщательно спланировать, мы сможем еще до рассвета нарушить все остальные.

Но какой бы плохой ни была акустика внутри актового зала, снаружи она была прекрасной. Все разговоры и шумные игры прекратились через несколько секунд после того, как первый из нас, а это был я, услышал шаги возвращающихся посланников, которые приближались к нам по мраморной лестнице и коридору. Еще до того, как кто-то вошел, я абсолютно точно знал, что идут трое.

Чумной шел первым. Он выглядел неожиданно хорошо; лицо его светилось, глаза сияли, движения были энергичными.

– Да? – произнес он отчетливо, звонко прозвучал даже в этом глухом помещении. – Чем могу быть полезен? – Свой уверенный вопрос он адресовал почти что одному Финеасу, по-прежнему сидевшему перед балюстрадой в одиночестве. Финни пробормотал что-то слишком невразумительное для Чумного, и тот с темпераментным жестом повернулся к Бринкеру. Бринкер небрежно заговорил с Чумным, понимая, что за ним наблюдают. Постепенно шум, поднявшийся в зале при виде троих пришедших, стал стихать.

Это Бринкер умел: он никогда не повышал голоса, но заставлял окружающих затихнуть так, что его самого без малейших усилий становилось отчетливо слышно.

– ...значит, ты стоял близко к берегу и видел, как Финеас лезет на дерево? – говорил он, сделав, как я догадался, перед тем короткую паузу, чтобы шум окончательно стих.

– Конечно. Прямо там, под деревом, и стоял. И смотрел вверх. Солнце было уже очень низко, и я помню, что оно светило мне прямо в глаза.

– Значит, ты не мог... – вырвалось у меня, но я сумел остановиться.

Наступила короткая пауза, во время которой все уши, но не глаза, были обращены ко мне, затем Бринкер продолжил:

– И что ты видел? Ты вообще мог хоть что-нибудь видеть, солнце тебя не слепило?

– Ну конечно, – ответил Чумной своим новым, уверенным и фальшивым голосом. – Я просто приложил к глазам ладонь козырьком, вот так, – он продемонстрировал, – и мог все видеть. Я видел их обоих достаточно ясно, потому что вокруг них был сверкающий солнечный ореол. – В его голосе все отчетливей звучала искренность, словно он пытался удерживать внимание маленьких детей. – Солнечные лучи пронизывали пространство за ними, миллионы солнечных лучиков как

стрелы проносились позади них, это было как... как стрельба из золотого ружья. – Он помолчал, чтобы дать нам время оценить глубину и точность этого сравнения. – Вот на что это было похоже, если хотите знать. А они двое казались черными, как... как смерть, вокруг которой полыхал огонь.

Всем в его речи должно было быть слышно – неужели нет? – психическое расстройство. Все должны были почувствовать фальшь в его показной уверенности. Она же была видна любому дураку! Но что бы я ни сказал, это было бы воспринято как саморазоблачение; бороться за меня должны были другие.

– Там – это где? – бесцеремонно перебил Чумного Бринкер. – Где стояли эти двое?

– На суку. – Раздраженный, подразумевавший «это же очевидно», тон Чумного должен был в их глазах свести на нет то, что он сказал; они же знают, что он никогда прежде так не говорил, и должны понять, что он изменился и не отвечает за свои слова.

– Кто где находился там, на суку? Стоял ли один впереди, а другой сзади?

– Ну конечно.

– Кто был впереди?

Чумной шутливо улыбнулся.

– Этого я видеть не мог. Там было просто две фигуры, которые из-за этих стреляющих за ними лучей казались черными, как...

– Это ты уже говорил. Значит, ты не видел, кто стоял первым?

– Нет, естественно, не видел.

– Но ты видел, как именно они стояли. Где точно находился каждый из них?

– Один стоял прямо возле ствола и держался за него. Я этого никогда не забуду, потому что ствол тоже был огромной черной фигурой, а его руки держались за него, как за якорь – ну, понимаете? – будто за что-то единственно безопасное в водовороте огня, среди которого они стояли. А другой находился чуть ближе к концу сука.

– И что случилось?

– Потом они оба задвигались.

– Как они задвигались?

– Они задвигались... – Теперь Чумной улыбался очаровательной, чуть лукавой улыбкой, как ребенок, предвкушающий, что вот сейчас он скажет нечто умное и всех поразит. – Они задвигались, как мотор.

В повисшей за этими словами недоуменной тишине я начал медленно выпрямляться.

– Как мотор?! – На лице Бринкера отразилось изумление попеременно с раздражением.

– Я не знаю, как называется такой мотор, но в нем два поршня. Как он называется? Ну, в общем, в таком моторе сначала один поршень опускается, а потом другой. Тот, что стоял возле ствола дерева, на секунду опустился, как поршень, и тут же вернулся в исходное положение, а потом опустился второй – и упал.

Кто-то на помосте воскликнул:

– Из-за того, кто двинулся первым, второй потерял равновесие!

– Наверное. – Чумной стремительно терял интерес к разговору.

– Тот, который упал, – медленно произнес Бринкер, – то есть Финneas, двинулся первым или вторым?

Выражение лица у Чумного стало хитрым, голос зазвучал решительно:

– Я не собираюсь впутываться в это дело. Я не дурак, вы знаете. И не стану вам все рассказывать, чтобы потом это обернулось против меня. Вы всегда меня за дурака держали, скажете нет? Но я больше не дурак и знаю: располагать информацией опасно. – Он все больше распалялся. – С какой стати мне вам все рассказывать?! Только потому, что вам это на руку?

– Чумной, – умоляюще произнес Бринкер, – Чумной, это очень важно...

– Я тоже очень важен, – тонким голосом взвизгнул тот. – Вы никогда этого не сознавали, но я тоже важен. Это ты дурак, – он посмотрел на Бринкера пронизывающим взглядом, – ты делаешь все, что захочешь и когда захочешь. Вот теперь и побудь дураком ты. Ублюдок.

Незаметно для всех Финneas встал.

– Мне все равно, – прервал он происходящее ровным голосом, глубоким и насыщенным, заглушающим все остальные. – Мне все равно.

Я рванул к нему со своей скамейки.

– Финneas!..

Он резко качнул головой, закрыл глаза, а потом повернулся и посмотрел на меня; его лицо превратилось в красивую маску. – Мне все равно. Не бери в голову. – И пошел по мраморному полу к выходу.

– Подожди минутку! – крикнул Бринкер. – Мы еще не все услышали. У нас еще не все факты собраны!

Эти слова привели Финneasа в ярость. Он развернулся, словно на него напали сзади.

– Ты получил все недостающие факты, Бринкер! – крикнул он. – Все твои факты теперь у тебя на руках! – Я никогда не слышал, как Финни кричит. – Ты собрал все чертовы факты в этом мире! – И он опрометью

бросился за дверь.

Прекрасная акустика снаружи донесла до нас звук его торопливых прерывистых шагов и стук палочки, сначала из коридора, потом с первых ступеней мраморной лестницы. А в следующий момент эти звуки потонули в чудовищном грохоте тела, покотившегося вниз по белым мраморным ступеням.

## Глава 12

Все сохраняли полное присутствие духа. Бринкер крикнул, что Финеаса нельзя двигать с места; кто-то другой, сообразив, что в лазарете сейчас есть только ночная дежурная медсестра, не теряя времени, бросился за доктором Стэнпоулом к нему домой. Еще кто-то вспомнил, что Фил Лейтем, тренер по борьбе, живет по ту сторону Центрального выгона и отлично знает приемы оказания первой помощи пострадавшему. Именно Фил положил Финни плашмя на широкую площадку между лестничными маршами и не давал ему шевелиться, пока не прибыл доктор Стэнпоул.

Вестибюль и лестница Первого корпуса очень скоро наполнились людьми, как в дневное время. Фил Лейтем нашел главный рубильник, и белый мрамор засверкал под полным электрическим освещением. Однако вокруг дома царила тишина полуночного провинциального города, в которой торопливые шаги и приглушенные голоса отдавались гулким эхом. Окна, черные и слепые, хранили вид унылой пустоты.

В какой-то момент Бринкер, повернувшись ко мне, сказал:

– Сбегай в актовый зал, посмотри, нет ли там на помосте какого-нибудь одеяла.

Я рванул вверх по лестнице, нашел одеяло и отдал его Филу Лейтему. Тот бережно укутал им Финеаса.

Я бы хотел сделать это сам, для меня это много значило бы. Но Финеас мог начать обзывать меня всеми известными ему ругательствами, мог совсем потерять голову, и от этого ему стало бы еще хуже. Поэтому я держался в стороне.

Финни находился в полном сознании и, судя по выражению лица, которое мне время от времени удавалось мельком увидеть, был совершенно спокоен. Присутствие духа сохраняли все, включая Финеаса.

Когда появился доктор Стэнпоул, на лестнице воцарилась тишина. Укутанный в одеяло, освещенный лившимся из люстры светом, Финни лежал один, в центре плотного круга обступивших его лиц. Остальные сгрудились на лестнице. Позади меня вестибюль был пуст.

После беглого молчаливого осмотра доктор Стэнпоул велел принести кресло из актового зала, и Финни был очень осторожно усажен в него. Человека несут в кресле... Для Нью-Гемпшира это было как минимум странно. Когда кресло подняли, вид Финни показался мне странным: он напоминал какого-то величественного трагического персонажа вроде

раненого понтифика. И снова ко мне пришло грустное осознание: все это время я не замечал того, что было в нем самым уязвимым. Наверное, этому способствовала чрезвычайная нелепость того, что его, беспомощного, несли сейчас другие, между тем как по природе своей он как раз был из тех, кто носит других. Думаю, он не знал, как вести и даже как чувствовать себя в качестве объекта помощи. Он проплыл мимо меня с закрытыми глазами и сомкнутым ртом. Я понимал, что в нормальных обстоятельствах кто-то должен был идти рядом и шептать ему что-нибудь на ухо. Только от меня он принимал помощь, не воспринимая ее как таковую. Ответ на вопрос «Почему?» пришел мне в голову в тот момент, когда процессия медленно двигалась через сверкающий вестибюль к выходу: Финеас считал меня частью себя самого.

Доктор Стэнпоул остановился перед дверью, озираясь в поисках выключателя. В течение нескольких секунд рядом с ним никого не было. Я подошел и попытался задать ему вопрос, но не мог найти слов. Я разрывался между «Он будет?..» и «Что это?..», когда доктор Стэнпоул, казалось, даже не заметивший моего смущения, произнес:

– Опять нога. Опять сломана. Но этот перелом, думаю, проще, гораздо проще. Просто перелом.

Он нашел наконец выключатель, и вестибюль погрузился в темноту.

Автомобиль доктора Стэнпоула, стоявший снаружи, был окружен ребятами, пока Фил Лейтем, подняв Финеаса на руки, укладывал его на сиденье. Потом Фил и доктор Стэнпоул тоже сели в машину и медленно отъехали; по мере того как они удалялись, задние габаритные огни превращались в две яркие параллельные линии, а потом – в две такие же линии, но уже под прямым углом к первым, когда автомобиль свернул на дорогу к лазарету. Толпа начала быстро расходиться; до преподавателей наконец тоже дошел слух, что ночью что-то случилось, несколько встревоженных и сеющих тревогу учителей материализовались из темноты и велели всем отправляться по своим комнатам. Внезапно из-за кустов появился мистер Ладсбери.

– Иди в общежитие, Форрестер, – сухо сказал он с уверенностью в моем послушании, которая вдруг показалась мне смешной, чрезвычайно смешной. И поскольку он счел ниже своего достоинства стоять и смотреть, внял ли я его приказу, минуту спустя я был уже свободен от его присутствия. Я прошел мимо кустов, обогнул деревья и направился к часовне в обход подаренного школе бывшими воспитанниками огромного здания, применения которому никто так и не нашел. Потом пересек улицу и

бесшумно зашагал по траве, начавшей прорастать вдоль подъездной аллеи лазарета.

Машина доктора Стэнпоула, пустая, стояла в конце аллеи с включенными фарами и работающим мотором. Я праздно подумал, не угнать ли ее, как некоторые люди праздно размышляют о преступлениях, которые они могли бы совершить. Идея украсть машину представляла для меня сугубо академический интерес, поскольку было очевидно, что это не столько преступно, сколько бессмысленно, – побег в никуда. Проходя мимо, я обратил внимание на одышку, с которой работал мотор, – у школьных преподавателей, помню, подумал я, не бывает автомобилей, годных для бегства с места преступления, – потом я завернул за угол здания и стал красться вдоль задней стены. Освещенным было единственное окно в дальнем конце, напротив него обнаружили кусты, где можно было спрятаться, и оттуда попробовать заглянуть внутрь. Оно располагалось слишком высоко, но, убедившись в том, что земля уже достаточно мягкая и прыжок не издаст большого шума, я подпрыгнул изо всех сил. Мне удалось мельком увидеть в дальнем конце комнаты дверь, которая вела в коридор. Я подпрыгнул снова – чья-то спина. Еще раз – ничего нового. Подпрыгнув в очередной раз, я увидел голову и плечи, развернутые вполборота ко мне, – Фил Лейтем. Значит, это та самая палата.

Земля была слишком сырой, чтобы сидеть на ней, поэтому я, скорчившись, стал ждать. Сквозь стекло доносился неразборчивый гул голосов. Если они только болтают и ничего другого не делают, Финни помрет у них со скуки, сказал я себе. Похоже, той ночью моя голова была полна остроумных замечаний. Сидеть на корточках над землей было холодно. Несколько раз я вставал и подпрыгивал, не столько чтобы что-нибудь увидеть, сколько чтобы согреться. Единственными звуками были случайные всхрапывания мотора машины мистера Стэнпоула, когда он проворачивался с особой неохотой, да иногда тонкие одинокие завывания ветра во все еще голых деревьях. Они составляли фон для тоскливого гула сливавшихся воедино голосов Фила Лейтема, доктора Стэнпоула и ночной медсестры, трудившихся над Финеасом.

О чем они могли говорить? Эта медсестра была главной болтушкой в школе. Мисс Болтушка ДМ.<sup>[26]</sup> Фил Лейтем, напротив, почти никогда не разговаривал. Из немногих его реплик любимыми были: «Выложись по полной» и «Сделай еще одну попытку». Он обо всем думал как о спорте и советовал своим ученикам «атаковать» учебу, спорт, религиозные колебания, сексуальные несовпадения, физические недостатки и все прочие проблемы все тем же испытанным способом – выкладываться по полной и



неустанно повторять попытки. Я внимательно вслушивался в его голос, вслушивался так напряженно, что мне показалось, будто я отличаю его от других и даже разбираю слова: «Финни, выложись по полной, наподдай этой кости!»

Я и сам той ночью был в ударе.

Фил Лейтем учился в Гарварде, хотя, как я слышал, продержался там всего год. Может быть, посоветовал кому-нибудь выложиться по полной, и на том его учеба закончилась; вероятно, в Гарварде это является основанием для исключения. Не может быть, чтобы существовало понятие «выложиться по-гарвардски». А «по-девонски» может? Или: «Еще одна девонская попытка»? «Хилая девонская попытка»? А вот это хорошо – хилая девонская попытка. Надо будет как-нибудь запустить фразу в курилке. Она довольно забавная. Бьюсь об заклад, Финни она бы...

Доктор Стэнпоул тоже был весьма разговорчив. А какая у него любимая присказка? Никакой. Никакой? Нет, должна быть какая-нибудь. У всех есть какое-нибудь любимое словечко, фраза, которую они постоянно повторяют. Сложность с мистером Стэнпоулом состояла в том, что у него был слишком обширный словарь. В нем имелось, вероятно, около миллиона слов, и ему приходилось использовать их все, прежде чем начать сначала.

Возможно, именно так они и общаются сейчас там, в палате. Доктор Стэнпоул пробирается насколько может быстро по большому разговорному кругу, мисс Болтушка, захлебываясь, что-то тараторит без умолку, а Фил Лейтем твердит: «Финни, выложись по полной!» Финneas, разумеется, отвечает им только по-латыни.

При этой мысли я едва не расхохотался вслух.

«*Gallia est omnis divisa in partes tres*»<sup>[27]</sup>, – вероятно, говорит он каждый раз Филу Лейтему. А Фил Лейтем каждый раз при этом озадаченно хлопает глазами.

Интересно, Финneasу нравится Фил Лейтем? Ну конечно, нравится. Вот было бы забавно, если бы он вдруг повернулся к нему и сказал: «Фил Лейтем, ты болван». По-своему смешно. А если бы он сказал: «Доктор Стэнпоул, старина, вы – самый многоречивый дипломированный медицинский работник из всех ныне живущих». А еще смешнее было бы, если бы он перебил эту ночную медсестру и сказал: «Мисс Болтушка, вы тухлая, тухлая, тухлая до самой сердцевинки. Просто я подумал, что обязан вам это сообщить». Финни никогда и в голову бы не пришло сказать нечто подобное, но меня эта фантазия так поразила, что я не удержался от смеха. Я прикрыл рот ладонью, потом заткнул его кулаком; если не смогу

остановиться, меня услышат в палате. Я так надрывался от смеха, что у меня заболел живот, и лицо становилось все краснее, я впился в кулак зубами, чтобы взять себя в руки, и тут заметил, что он весь в слезах.

Мотор автомобиля мистера Стэнпоула измученно взревел. Фары, описав блуждающую дугу, отвернулись от меня, и рокот трудолюбивого мотора стал удаляться; я прислушивался к нему не только до тех пор, пока он действительно смолк вдали, но и пока не забылось то, как он звучал. Свет в палате погасили, теперь из нее не доносилось ни звука. Единственным оставшимся шумом было какое-то особенно унылое завывание ветра в верхушках деревьев.

Где-то за ними, у меня за спиной, светил уличный фонарь, тускло отражаясь в окнах лазарета. Я подошел вплотную к окну палаты Финни, нащупал ячейку в решетке под ним, втиснул в нее мысок туфли и подтянулся так, что плечи оказались на уровне подоконника, потом протянул обе руки и, хотя был уверен, что окно заперто, изо всей силы рванул раму вверх. Она, к моему удивлению, стремительно взлетела, и в темноте послышалось какое-то шевеление.

– Финни, – прошептал я в черноту комнаты.

– Кто это?! – спросил он, приподнявшись в постели так, что на его лицо упал неверный свет из окна. Потом он узнал меня, и сначала показалось, что он собирается выбраться из кровати, чтобы помочь мне влезть. Но его неуклюжее копошение продолжалось так долго, что даже мой мозг, потрясенный и заторможенный после случившегося, смог осознать две вещи: его нога привязана так, что он не может свободно двигаться, и он отчаянно пытается выплеснуть наружу свою ненависть ко мне.

– Я пришел, чтобы...

– Ты хочешь мне еще что-нибудь сломать?! За этим ты пришел? – В темноте он сделал отчаянный рывок, под ним застонала кровать и зашуршали простыни, в которых он запутался. Впрочем, он все равно не смог бы до меня добраться, потому что непревзойденная координация покинула его. Он не мог даже встать с постели.

– Давай я поправлю тебе ногу, – видимо, совсем ничего не соображая, предложил я абсолютно естественным голосом, отчего мои слова прозвучали еще более дико, даже для меня самого.

– Ты поправишь мне... – Изогнувшись дугой, он отчаянно рванулся ко мне и упал; ноги остались на кровати, руки с громким стуком ударились об пол. Несколько мгновений спустя его тело расслабилось, и голова медленно опустилась на руки. Он ничего себе не повредил. Просто медленно опустил

голову и остался лежать на полу, не двигаясь, не издавая ни звука.

– Прости, – машинально произнес я, – прости, прости.

Мне хватило ума не влезать в палату, а предоставить ему самому добираться обратно до постели. Соскользнув с окна, помню, я долго лежал на земле, уставившись в ночное небо, – не ясное, но и не сплошь затянутое облаками. Еще помню, как потом бесцельно брел по дороге, которая вела мимо спорткомплекса к старому пруду. Я старался справиться с тем, что можно было назвать двойным зрением. Я видел спорткомплекс в тусклом свете уличных фонарей и, разумеется, понимал, что это девонский спорткомплекс, куда я ходил каждый день. Это был он, но в то же время не он. Что-то в нем появилось странное, как будто внутри всегда существовало некое ядро, которого я прежде не видел, облик здания казался совершенно другим и каждую минуту продолжал меняться у меня на глазах, в иные короткие мгновения оно представлялось абсолютно незнакомым, обретало гораздо более глубокий смысл, и становилось намного более реальным, чем когда-либо. То же самое происходило и с прудом, на котором мы зимой самовольно устраивали хоккейные матчи. Лед на пруду уже стаял, если не считать нескольких блестящих островков посередине и кромки, мерцавшей вдоль берега. Окружавшие пруд старые деревья тоже казались глубоко многозначительными, транслировавшееся ими послание было явно неотложным, но не поддавалось расшифровке. Тут дорога сворачивала налево и превращалась в проселок. Она тянулась вдоль ближней оконечности игровых полей, расстилавшихся передо мной мелкими замерзшими волнами, сейчас эти поля знаменовали собой новые смыслы и уровни реальности, о коих я прежде и не подозревал, являли эпическое величие, к которому мой поверхностный взгляд и недаленовидный ум прежде были слепы и глухи. Простор полей открывался взору, но они оставались непроницаемы для меня, словно я был бродячим привидением, не только сегодня – всегда, как будто не играл на них сотни раз, как будто нога моя никогда на них не ступала, как будто вся моя девонская жизнь была сном, вернее, как будто все здесь, в Девоне, – игровые поля, спорткомплекс, пруд, все здания и все люди – все было остро реальным, бурно живым и исполненным смысла, и только я один оставался сном, плодом воображения, который никогда ни к чему здесь на самом деле не прикасался. Я чувствовал, что не являюсь, никогда не был и никогда не буду живой частью этого всепобеждающе основательного и глубоко значительного мира, окружавшего меня.

Я дошел до моста, аркой перекрывавшего маленькую речку Девон, за ним до самого стадиона извивалась проселочная дорога. Сам стадион – с

белыми бетонными рядами сидений с обеих сторон – представился мне огромным и чужим, как ацтекские руины, мне повсюду мерещились следы давно исчезнувших людей и былых ристалищ, предельного напряжения чувств и высоких трагедий. На память пришла известная фраза «Если бы стены умели говорить», и я прочувствовал ее глубже, чем кто-либо когда-либо: пусть этот стадион не умел говорить, но его неслышные речи околдовывали меня. На самом деле стадион властно говорил во все времена, в том числе и теперь. Просто я не мог его слышать, потому что меня не существовало.

На следующее утро я проснулся в сухом и хорошо защищенном от влаги углу под пандусом стадиона. Шею свело от сна в неудобной позе. Солнце уже стояло довольно высоко, воздух был свеж.

Я вернулся в школу, позавтракал и пошел к себе в комнату за тетрадь, потому что в 9.10 в ту среду у меня был урок. Но под дверью я обнаружил записку от доктора Стэнпоула: «Пожалуйста, принеси Финни в лазарет какую-нибудь одежду и умывальные принадлежности».

Я взял его чемоданчик, собиравший пыль в углу, и сложил в него то, что могло понадобиться Финеасу. Я понятия не имел, что скажу в лазарете. Меня не покидало смутное чувство, будто все это я уже проживал раньше: Финеас в лазарете, и ответствен за это я. Кажется, сейчас я был потрясен меньше, чем в первый раз, минувшим августом, когда беда разразилась над нашими головами как гром среди ясного неба. Сейчас вокруг витали, словно едва уловимый запах, намеки на что-то гораздо худшее, их вызывали в сознании такие слова, как «плазма», «психоз», «сульфазин», – странные слова, напоминающие латинские существительные. Кинохроника и журналы были забиты видами вздымающих землю артиллерийских взрывов и тел, наполовину утопающих в песке где-то на морском побережье. Мы, выпускники 1943 года, теперь приближались к войне стремительно, настолько стремительно, что жертвы среди нас появились прежде, чем мы до нее добрались: помутнение рассудка и сломанная нога. Возможно, в этой ускоряющейся гонке их следовало считать всего лишь малозначительными и неизбежными неприятностями. Воздух вокруг нас был заряжен энергетикой вещей куда более худших.

Так я успокаивал себя, направляясь в лазарет с чемоданчиком Финни. В конце концов, размышлял я, люди стреляют из огнеметов в жилые дома и зажаривают других людей живьем, торпеды пробивают фюзеляж кораблей, и ледяной океан поглощает тысячи мужчин, целые городские кварталы взрываются и рушатся в один момент. Мои короткие вспышки злости, длящиеся всего секунду, даже долю секунды, накатывающие прежде, чем я

успеваю осознать их приближение, и отступающие прежде, чем я успеваю понять, что они были, все это такая ерунда в гуще нынешней бойни.

Так, с чемоданчиком Финни, я дошагал до лазарета и вошел внутрь. Атмосфера здесь была тяжелой от больничных запахов, она немного напоминала ту, что царил в спорткомплексе, но тут недоставало ощущения отданной человеческой энергии. Теперь это стало фоном жизни Финеаса – медицинская стихия, в которой отсутствует физическое здоровье.

Коридор оказался пустым, и я проследовал по нему в состоянии своего рода фатальной эйфории. Все сомнения наконец разрешились. Тогда как раз в моду вошла простая, но многозначная военная присказка «вот и все», и хоть впоследствии она стала восприниматься иронично, в ней заключалась невыразимая точность: бывают моменты, когда только это и остается сказать. Сейчас был именно такой момент – вот и все.

Я постучал и вошел. Он сидел в кровати, обнаженный до пояса, и листал журнал. Я интуитивно опустил голову, смелости у меня хватило лишь на то, чтобы бросить на него очень короткий взгляд, прежде чем сказать: «Я принес твои шмотки».

– Положи чемодан на кровать, вон там, пожалуйста.

Интонация его голоса была безжизненно ровной: ни дружелюбия – ни враждебности; ни интереса – ни скуки; ни энергии – ни апатии.

Я поставил чемоданчик на кровать рядом с ним, он открыл его и стал перебирать смены белья, рубашки и носки, которые я собрал. Я стоял посередине комнаты, стараясь найти что-нибудь, во что можно было бы уткнуться взглядом, и слова, чтобы что-нибудь сказать, стоял, отчаянно желая уйти и не имея сил это сделать. Финеас внимательно и совершенно спокойно на вид продолжал перебирать вещи. Но это было так не похоже на него – что-то тщательно проверять – совсем не похоже. Он занимался этим очень долго, а потом, когда он попытался вынуть щетку для волос из-под резиновой петельки, которая прикрепляла ее к крышке, я заметил, что он не может этого сделать, потому что у него сильно дрожат руки. И тут меня словно прорвало.

– Финни, я пытался сказать тебе это раньше, в тот раз, когда приезжал в Бостон...

– Я знаю, я это помню. – Оказалось, что даже он не всегда мог сдерживать громкость голоса. – Зачем ты приходил сюда вчера ночью?

– Не знаю. – Я подошел к окну, положил руки на подоконник и уставился на них отстраненно, словно это были слепки, кем-то сделанные и выставленные напоказ. – Я не мог не прийти, – с огромным трудом выдал я наконец. – Просто мне казалось, что мое место здесь.

Я почувствовал, что он поворачивается в мою сторону, и поднял голову. На его лице появилось то особое выражение, какое бывало всегда, когда что-то до него вдруг доходило, но он не желал показать, что не понимал этого раньше, – выражение невозмутимой осведомленности. Это стало для меня первым за долгое время приятным событием.

Финни вдруг с силой шарахнул по чемодану кулаком.

– Господи, как бы я хотел, чтобы не было никакой войны!

Я строго посмотрел на него.

– Почему ты так говоришь?

– Не знаю, смогу ли я смириться с этим, когда идет война. Не знаю.

– Сможешь ли ты?..

– Какой толк на войне от человека со сломанной ногой?!

– Ну, ты... есть много... ты можешь...

Он снова склонился над чемоданом.

– Я всю зиму отправлял запросы в армию, в Военно-морской флот, в морскую пехоту, канадцам – куда только я их не слал. Ты знал это? Нет, ты этого не знал. Я указывал обратный адрес: «Городской почтамт, до востребования». И всё мимо, все, изучив мое медицинское заключение, отвечали одно и то же: мы не можем вас зачислить. Писал я и в Береговую охрану, и в Военно-торговый флот, лично генералу де Голлю, Чан-Кайши, я уже был готов написать кому-нибудь в Россию.

Я попытался улыбнуться.

– В России тебе бы не понравилось.

– Мне нигде не понравится, если я не буду участвовать в войне! Как ты думаешь, почему я всю зиму твердил, что никакой войны нет? Я решил талдычить это до тех пор, пока не получу письмо из Оттавы или Чунцина, где будет сказано: «Да, мы зачисляем вас в свои ряды», – в следующую же секунду я прекратил бы этот треп. – На миг его лицо осветилось удовлетворением, словно он действительно получил такое письмо. – И тогда бы война действительно началась.

– Финни, – голос у меня дрогнул, но я продолжил: – Финеас, от тебя на войне не было бы никакого проку, даже если бы ты не сломал ногу.

На его лице отобразилось изумление. Я был напуган, но знал: то, что я говорю, важно и правильно, и мой голос обрел ту полноту уверенности, с какой нечто давно прочувствованное и понятое наконец высказывают вслух.

– Тебя бы отправили на какой-нибудь фронт, и при первом же затишье в боевых действиях ты побежал бы к немцам или японцам, чтобы спросить, не хотят ли они выставить бейсбольную команду против наших. Ты бы

сидел у них на каком-нибудь командном пункте и учил их английскому. Да, ты бы все перепутал и надел чью-то чужую форму, а свою отдал бы кому-нибудь из них. Вот что случилось бы, это точно. Ты бы устроил там такую неразбериху, что все перестали бы понимать, с кем им нужно воевать. Ты бы превратил войну в полный кавардак, Финни, в жуткий кавардак.

Он слушал меня, отчаянно стараясь оставаться спокойным, но при этом плакал, хотя пытался держать себя в руках.

– Там, на дереве, это был просто какой-то неосознанный толчок, ты не понимал, что делаешь, правда ведь?

– Да, да, так и было! Именно так! Но неужели ты можешь в это поверить? Как ты можешь поверить в это? Я не смогу заставить себя даже притвориться, будто верю, что ты поверил.

– Думаю, я могу в это поверить. Иногда я сам вдруг становлюсь бешеным и почти не понимаю, что творю. Так что я верю тебе. С тобой тогда случилось то же самое. Просто на тебя что-то накатило. На самом деле ты ничего против меня не имел, это не было проявлением долго копившейся ненависти. В этом вообще не было ничего личного.

– Не было! Как мне доказать тебе это, как я могу тебе это доказать, Финни? Скажи как? Это было что-то внутри меня, что-то дикое, слепое...

Он кивал, стиснув зубы и закрыв глаза, по щекам текли слезы.

– Я тебе верю. Все в порядке, потому что я понимаю тебя и верю тебе. Ты доказал мне, и я тебе поверил.

Остаток дня пролетел быстро. Доктор Стэнпоул сообщил мне в коридоре, что собирается сегодня вправить кость. «Возвращайся часов в пять, – сказал он, – когда Финни уже отойдет от наркоза».

Я покинул лазарет и отправится на урок американской истории, начинавшийся в 10.10. Мистер Пэтч-Уизерс дал нам пятиминутную контрольную на тему «Положение о «необходимых и уместных» законах в Конституции США». В одиннадцать часов я вышел из учебного корпуса и пересек Центральный выгон, где несколько учеников уже сидели на траве, хотя было еще довольно холодно. Дойдя до Первого корпуса, я поднялся по лестнице, с которой упал Финни, и вошел в класс, где в 11.10 начинался урок математики. Здесь нам дали десятиминутную контрольную по тригонометрии, и мне показалось, что задача решилась у меня сама собой.

В двенадцать я покинул Первый корпус, пересек Центральный выгон в обратном направлении и съел ланч в Корпусе Джареда Поттера – лангет из телятины со шпинатом и картофельным пюре и чернослив со взбитыми сливками. Во время еды мы обсуждали вопрос о том, есть ли селитра в картофельном пюре. Я утверждал, что нету.

В общежитие я возвращался с Бринкером. Предыдущей ночи в разговоре он коснулся лишь раз, спросив, как чувствует себя Финеас; я ответил, что настроение у него хорошее. У себя в комнате я прочел по-французски заданный отрывок из «Мещанина во дворянстве». В два тридцать, выйдя из общежития, прошел по ближней дуге овала, который Финни зимой назначил моим маршрутом для тренировок по бегу, пересек Дальний выгон и вошел в спорткомплекс. Миновав Зал спортивной славы, спустился по лестнице в спертый воздух раздевалки, переделся в спортивную форму и час занимался борьбой. Один раз я положил партнера на лопатки, два раза – он меня. Фил Лейтем показал мне сложный прием ухода от захвата с кувырком через спину противника. И заговорил было о вчерашнем инциденте, но я сосредоточился на новом приеме, и разговор сник. Потом я принял душ, оделся, вернулся в общежитие, еще раз прочел отрывок из «Мещанина во дворянстве» и в 16.45, вместо того чтобы идти на заседание Комитета по организации выпускного вечера, председателем которого меня уговорили стать вместо Бринкера, отправился в лазарет.

Доктор Стэнпоул не слонялся по коридору, как делал обычно, когда не был занят, поэтому я сел на скамейку и, окруженный медицинскими запахами, стал ждать. Минут через десять он поспешно вышел из своего кабинета, голова его была опущена, руки – в карманах белого халата. Он почти прошел мимо, не заметив меня, потом резко остановился и, обернувшись, опасно посмотрел мне в глаза.

– Ну как он, сэр? – спросил я спокойным голосом, но в следующий же миг испытал какую-то необъяснимую тревогу.

Доктор Стэнпоул сел рядом и положил свою крупную ладонь мне на колено.

– Случилось то, с чем мальчикам твоего поколения предстоит сталкиваться очень часто, – сказал он тихо, – и о чем мне придется тебе сейчас сообщить. Твой друг умер.

Дальше я уже не мог разобрать, что он говорит. Лишь по спине у меня растекался ледяной холод, вот и все, что я чувствовал. Доктор Стэнпоул продолжал говорить, но я ничего не понимал.

– Это был такой простой перелом. Вправить кость сумел бы любой фельдшер. Ну я, конечно, и не стал отправлять его в Бостон. Зачем?

Казалось, он ждет от меня ответа, поэтому я тряхнул головой и тупо повторил:

– Зачем?

– Во время операции у него остановилось сердце, безо всяких на то причин. Не могу этого объяснить. Да нет, могу. Тут есть только одно



объяснение: когда я сдвинул кость, какая-то частичка костного мозга, должно быть, попала в кровоток, добралась прямо до сердца и прекратила его работу. Это единственное возможное объяснение. Единственное. Риск существует всегда. Операционная – место, где риск в порядке вещей более, чем где бы то ни было. Операционная – это фронт. – Я заметил, что он начинает терять самообладание. – Ну почему это должно было случиться с вами, мальчики, так рано, когда вы еще даже не покинули Девон?

– Частица костного мозга... – бессмысленно повторил я. До меня наконец стало доходить. Финеас умер от кусочка костного мозга из собственной ноги, который попал в сердце с током крови.

Я не заплакал, и потом никогда не плакал по Финни. Даже тогда, когда стоял и смотрел, как его опускают в могилу на строгом пуританском кладбище в пригороде Бостона. Я не мог отделаться от ощущения, что это мои собственные похороны, а на своих похоронах не плачут.

## Глава 13

Прямоугольник домов, окружавших Дальний выгон, никогда не считался исконным для Девонской школы. Суть ее сосредоточивалась в других местах – в старых, уродливых, комфортабельных зданиях, окружавших Центральный выгон. Там разворачивалась история школы – легендарные сцены беспорядков, визиты президента, мобилизация на Гражданскую войну происходили, если не в этих зданиях, то в их предшественниках, стоявших на тех же местах. Здесь собирались на разные мероприятия старшеклассники и преподавательский состав, здесь окончательно утверждался бюджет, здесь учеников исключали из школы. Когда воспитанники, окончившие ее десять лет назад, слышали слово «Девон», они мысленно представляли себе именно Центральный выгон.

Дальний же – дар щедрой благотворительницы, – иное дело. Здешние здания, как и все остальные, были построены в георгианском стиле, сочетавшем педантичность с изяществом, что придавало Девону интересный с архитектурной точки зрения облик. Однако кирпичи здесь были уложены чуть более искусно, а деревянные части строений были более хлипкими и менее гладкими, чем следовало. Эта часть школы не отражала глубинную суть Девона и поэтому без особых сожалений была пожертвована на нужды войны.

Из окна моей комнаты Дальний выгон хорошо просматривался, и в начале июня я, стоя перед ним, наблюдал, как его оккупирует война. Ее передовой отряд, следовавший от вокзала, состоял из колонны джипов, водители которых вынужденно придерживали своих мустангов, поскольку особые колеса внедорожников были бесполезны на здешних улицах, вся «ухаби́стость» которых ограничивалась несколькими выбитыми бульжниками. Эти джипы казались сконфуженными от того, что им не позволено проявить всю свою мощь. Нет в жизни периода более понятного, чем только что прожитый, и то, как эти джипы, готовые в любой момент рвануть вверх по склону Горы Вашингтон<sup>[28]</sup> на скорости восемьдесят миль в час, тащились по нашей унылой улице, с горькой иронией напомнило мне поведение подростков.

За джипами следовали тяжелые грузовики, выкрашенные в грязновато-оливковый цвет, а за ними шла войсковая колонна. Вид у солдат был не слишком воинственный: строй беспорядочный, летнее обмундирование помялось в поезде, и они пели «Выкатывай бочонки»<sup>[29]</sup>.

– А это что? – спросил Бринкер у меня из-за спины, указывая на открытые грузовики, замыкавшие эшелон. – Что у них в кузовах?

– Похоже на швейные машинки.

– Так это и есть швейные машинки!

– Наверное, школам укладчиков парашютов нужны швейные машинки.

– Если только Чумной записался в военно-воздушные силы и направлен в школу укладчиков парашютов...

– Не думаю, что это имело бы значение, – сказал я. – Давай не будем говорить о Чумном.

– С Чумным все будет в порядке. В его ситуации нет ничего лучше увольнения. А что касается восьмой статьи, то года через два после окончания войны все будут думать, что это просто параграф устава.

– Хорошо. Только сейчас, если не возражаешь, не будем говорить о том, чего мы не можем исправить.

– Ладно.

Мне приходилось искать правоту в том, чтобы никогда не разговаривать о вещах, которые нельзя изменить, и мне приходилось многих убеждать в том, что я прав. Никто никогда не возлагал на меня ответственность за случившееся с Финеасом, – то ли потому, что они не могли в это поверить, то ли потому, что не могли этого понять. Мне хотелось поговорить об этом, но никто не поддерживал меня, а говорить в связи с Финеасом о чем-то другом я не желал.

Джипы, войска и швейные машинки выстроились на лужайке Дальнего выгона. А на ступеньках одного из зданий, Визи-холла, происходило что-то вроде приветственной церемонии или совещания на ходу. Директор и несколько старших членов преподавательского состава кучкой стояли перед входом, группа офицеров-летчиков напротив, на расстоянии, с которого можно было слышать друг друга. Директор сделал несколько шагов вперед и стал жестикулировать – очевидно, он обращался к войскам. Потом его место занял офицер, который говорил громче и дольше, мы довольно хорошо слышали его голос, но слов разобрать не могли.

А вокруг царил чудесный новоанглийский день. Мир и покой осеняли Девон словно благословение небес – летний мир, отсроченный нью-гемпширский ответ зимним раздумьям и апатии. В такие летние дни не может быть никакой спешки в работе, и уложенные парашюты представляются не полезней обычных салфеток.

Но может быть, так казалось только мне и немногим другим – членам той бродячей цыганской компании прошлого лета. А может, нас было еще

меньше; например, не факт, что Чет и Бобби чувствовали тогда то же самое. Или Чумной, несмотря на его лотки с улитками. Уверенным я мог быть только в двоих – в Финеасе и себе самом. Так что теперь, скорее всего, так казалось мне одному.

Строй распался и рассредоточился по Дальнему выгону. В общежитии начали распахиваться окна, и десятки грязно-оливковых одеял свешивались с подоконников для проветривания. Швейные машинки старательно перенесли в Визи-холл.

– Здесь мой отец, – сказал Бринкер. – Я послал его выкурить сигару. Он хочет с тобой познакомиться.

Мы спустились в курилку и нашли мистера Хедли сидящим в одном из комковатых кресел и старающимся не показывать, как корбит его тамошний антураж. Но когда мы вошли, он встал и с искренней сердечностью пожал мне руку. Это был человек незаурядной внешности: ростом выше Бринкера, поэтому его полнота не бросалась в глаза, с густой седой шевелюрой и здоровым румянцем.

– Отлично выглядите, мальчики, отлично, – сказал он звучным задумчивым голосом. – Я бы сказал, лучше, чем эти солдатики, за которыми я тут наблюдал. А вы видели их «артиллерию»? Швейные машинки!

Бринкер засунул руки в задние карманы широких брюк.

– Эта война так технологична, что приходится использовать самые разные виды оборудования, в том числе швейные машинки. Ты согласен, Джин?

– Ну а я, – категорическим тоном продолжил мистер Хедли, – не могу себе представить, чтобы в мои времена боевым применением мужчины было сидение за швейной машинкой. Никак не могу. – Потом он улыбнулся и опять сменил тон на душевный. – Впрочем, времена меняются, меняются и войны. Но люди ведь не меняются, правда? Глядя на вас, ребята, я вспоминаю себя и своих сверстников в молодости. Мне приятно смотреть на вас. Ты в какие войска собираешься записываться, сынок, – обратился он ко мне, – в морскую пехоту или в парашютно-десантные? В наши дни для новобранцев открывается чертовски много возможностей. Например, существует подразделение ныряльщиков, которых называют людьми-лягушками, – водолазно-подрывное. Я бы многое дал, чтобы снова стать молодым и иметь возможность такого широкого выбора.

– Я собирался дождаться призыва, – сказал я, стараясь быть вежливым и на вопрос ответить честно, – но в этом случае меня бы наверняка записали в пехоту, а это не только самый грязный, но и самый опасный род

войск, хуже ничего нет. Поэтому я записался в морской флот, и меня отправляют в Пенсаколу. Наверное, там мне предстоит серьезная и долгая подготовка, так что я никогда не увижу лисьей норы<sup>[30]</sup>. Надеюсь.

Термин «лисья нора» все еще оставался новым, и я не был уверен, что мистер Хедли понимал его значение, но видел, что ему было совершенно безразлично, что я говорю.

– А Бринкер, – добавил я, – твердо нацелился на береговую охрану, что тоже неплохо.

Недовольство мистера Хедли усилилось, хотя, хорошо владея лицом, он сумел отчасти скрыть это.

– Знаешь, папа, – вклинился Бринкер, – служба в береговой охране весьма сурова: высаживать морские десанты на берег и все такое, это довольно опасно.

Его отец едва заметно кивнул, глядя в пол, и сказал:

– Ты, конечно, можешь делать то, что считаешь правильным, но сначала убедись, что это действительно правильно в дальнейшей перспективе, а не только в настоящий момент. Военные воспоминания останутся с тобой на всю жизнь, тебя будут тысячу раз спрашивать о них после войны. И уважать тебя будут по ним – ну, отчасти по ним, не пойми меня неверно, – и если ты сможешь сказать, что был на фронте, там, где стреляли всерьез, это будет очень много значить для тебя в предстоящие годы. Я знаю, что вы, ребята, хотите иметь дело с разными механизмами, но не надо везде болтать об удобствах, о том, что какой-то род войск слишком грязен, и обо всем прочем. Теперь, Джин, я знаю тебя – думаю, что знаю – так же хорошо, как Бринкера, но другие люди могут понять тебя неправильно. Ты хочешь служить – и это главное. Это значительнейший момент в твоей жизни, твоя величайшая привилегия – служить своей родине. Мы все тобой гордимся, мы все – старики вроде меня – завидуем тебе.

Я заметил, что Бринкер озадачен всем этим даже больше, чем я, но отвечать, конечно, следовало ему.

– Да, папа, – промямлил он, – мы сделаем то, что должны сделать.

– Не очень хороший ответ, Бринк, – заметил его отец, с трудом сохраняя спокойствие.

– Но это все, что мы можем сделать.

– Вы можете больше! Намного больше! Если вы хотите сделать военную карьеру, которой можно гордиться, вы, черт возьми, должны совершить гораздо больше, чем просто то, что должны. Поверьте мне.

Бринкер тихонько вздохнул, его отец замер на несколько секунд, потом

сделал над собой усилие и расслабился.

– Твоя мать сидит в машине. Мне надо возвращаться к ней. Ребята, вы бы привели себя в порядок – посмотрите на свою обувь, – добавил он неохотно, словно делал это исключительно из чувства родительского долга. – Бринкер, почисти туфли. Ждем тебя в шесть в гостинице.

– Хорошо, папа.

Отец Бринкера удалился, оставив после себя легкий, незнакомый, дорогой аромат сигары.

– Папа всегда произносит эту речь о служении родине, – извиняющимся голосом сказал Бринкер. – Черт, ты уж прости.

– Все в порядке. – Я знал, что в понятие дружбы входит принимать недостатки друга, которые иногда касаются родителей.

– Я запишусь в армию, – продолжал Бринкер. – Буду «служить», как он выражается, может, меня даже убьют. Но будь я проклят, если стану относиться к этому как Натан Хейл<sup>[31]</sup>. Меня достала вся эта брехня про Первую мировую. Ты никогда не замечал, что все они были детьми? – Он удобно уселся в кресло, которое так смутило его отца. – Меня лично это раздражает. Я никакой не герой, и ты тоже. Так же как и мой старик, он не герой и никогда им не был, и мне плевать на то, что он рассказывает, будто чуть ли не воевал в Шато-Тьерри<sup>[32]</sup>.

– Он просто старается идти в ногу со временем и, наверное, в этот раз из-за возраста чувствует себя вне игры.

– Вне игры?! – Огонь вспыхнул в глазах Бринкера. – Вне игры! Да это он и ему подобные несут ответственность за то, что происходит! А нам приходится расхлебывать!

Эту «жалобу поколения» я слышал от Бринкера и раньше, причем так часто, что в конце концов счел именно ее источником разочарования, постигшего его зимой, это была обобщенная, слегка отдающая жалостью к себе обида на миллионы людей, которых он не знал. Однако он знал своего отца и не ладил с ним. В какой-то степени его отношение к войне походило на отношение Финни, естественно, если отбросить то, что Финни рассматривал проблему в сугубо комическом свете, как грандиозную шутку, которую разыгрывают толстые глупые старики, прячущиеся за сценой.

Я никогда не был согласен ни с тем, ни с другим. Поверить в это было бы удобно, но я не мог. Потому что мне казалось очевидным: войны развязывают не отдельные поколения в силу своей особой глупости, войны происходят из-за чего-то невежественного и грубого, таящегося в

человеческом сердце.

Бринкер продолжил наверху укладывать вещи, а я отправился в спорткомплекс, чтобы освободить свой шкафчик. Пересекая Дальний выгон, я увидел, что он стремительно становился неузнаваемым: в стратегически важных точках торчали огромные зеленые стволы, земля была размечена белыми линиями, указывающими, где находятся помещения и зоны, имелись и другие, менее явные признаки перемен – какая-то энергия была разлита в атмосфере, энергия профессионального оптимизма и сознательного поддержания высокого морального духа. Я нередко чувствовал себя счастливым в Девоне, но сейчас понял, что те времена миновали. Счастье исчезло вместе с резиной, шелком и многими другими материалами, «на определенный период» замененными войной на синтетику и высокий моральный дух.

В раздевалке спорткомплекса переодевался взвод солдат. Самое большее, что можно было сказать об их физической форме, – так это то, что выглядели они жилистыми в своем нижнем белье цвета мха.

Я никогда не говорил о Финни, и никто о нем не говорил, однако он присутствовал в моей жизни каждый миг каждого дня, с тех пор как доктор Стэнпоул сообщил мне страшную весть. Финни обладал живучестью, которую нельзя было убить вот так, вдруг, даже костным мозгом из его собственной ноги. Вот почему я не мог ни говорить, ни слышать разговоров о нем. Он жил во мне так ощутимо, что, что бы я ни сказал о нем другим, это показалось бы сумасшествием – например, я не мог говорить о нем в прошедшем времени. За то время, что я провел рядом с ним, Финеас создал атмосферу, в которой я продолжал жить и теперь: он воспринимал мир с беспорядочными и сугубо личными оговорками, просеивая словно сквозь сито его незыблемые как скала факты и принимая их выборочно и понемногу, только в том количестве, какое мог ассимилировать, не испытывая чувства хаоса и утраты.

Никто другой из моих знакомых этого не умел. Все остальные в определенный момент своей жизни находили в себе нечто, ожесточенно противостоящее чему-то в окружающем их мире. У моих ровесников это нередко случалось тогда, когда они осознавали факт войны. Когда начинали ощущать, что в мире происходит ошеломляюще враждебное действие. И тогда простота и цельность их характеров разбивались вдреизг, и они уже никогда не были такими как прежде.

Только Финеасу удалось избежать этого. Он обладал какой-то дополнительной энергией, повышенной верой в себя, безмятежной способностью к искренней привязанности, и это спасало его. Ни пока он

жил дома, ни когда учился в Девоне, ни даже когда началась война, ничто не смогло нарушить его гармоничную и естественную цельность. И только я наконец сделал это.

Укладчики парашютов через вестибюль выбежали на игровое поле. Я забрал из своего шкафчика спортивные туфли, тренировочные штаны и впервые в жизни не запер и даже не закрыл дверцу, оставив ее беспомощно распахнутой. И в этом было больше ощущения финала, чем в моменте, когда директор вручал мне аттестат. Мое ученичество завершилось.

Пройдя между рядами шкафчиков, я, вместо того чтобы повернуть налево, к выходу, ведущему к общежитию, повернул направо и проследовал на игровое поле. Там был воздвигнут высокий деревянный помост, на котором стоял инструктор, руководивший молодыми людьми, выполнявшими на земле гимнастические упражнения, он громко и ритмично гавкал: раз, два, три...

Еще несколько недель – и такая же строго регламентированная жизнь замкнется вокруг меня. Я больше не испытывал по этому поводу никаких сомнений, хотя не мог не радоваться тому, что произойдет это не в Девоне, и не в ином месте, похожем на Девон. У меня вообще больше не было сомнений; более того, теперь, в преддверии события, я испытывал растущее, горячее чувство уверенности. Я был готов к войне, потому что отделался от всякой ненависти, которую мог в нее привнести. Ярость покинула меня, я чувствовал, что она не просто ушла, – иссяк ее источник, высох, омертвел. Финеас впитал ее в себя и унес с собой, избавив меня от нее навсегда.

Возвращаясь в общежитие, я слышал, как у меня за спиной инструктор по физической подготовке, похожий на стократно усиленное кваканье лягушки, по-армейски выкрикивал: «Ать! Ва! Ии! Ыре!», и мои ноги невольно стали двигаться в такт этому грубому повелительному голосу, доносившемуся до меня через поля и выгоны словно сирена воздушной тревоги.

Я шагал в ногу, как буду шагать несколько недель спустя, подстегиваемый еще более громким голосом и более жарким солнцем. Там я буду шагать в ногу настолько, насколько мое естество, наполненное Финеасом, позволит это сделать.

Я никогда никого не убивал и никогда не разжигал в себе ненависть к врагу. Потому что моя война закончилась еще до того, как я надел военную форму; на действующей службе я находился все время, проведенное в школе; и там я убил своего врага.

Только Финеас никогда ничего не боялся, только Финеас никогда



никого не ненавидел. Другие люди где-нибудь когда-нибудь да испытывали этот ужасный шок, этот момент обнаружения врага, и тут же принимались с одержимостью защищаться, отражать представшую перед ними угрозу, вырабатывая каждый свое особое состояние духа и своим поведением заявляя либо: «Я ничтожный муравей, я ничто, я недостойн этой угрозы», либо, как мистер Ладсбери: «Как оно смеет мне угрожать, я слишком хорош, чтобы так со мной обращаться, я буду выше этого», или начиная вести себя, как Квакенбуш, с ходу набрасывающийся на любую угрозу всегда и везде, или как Бринкер, выработавший безлично-пренебрежительное негодование против нее, или как Чумной, вынырнувший из защитного облака отрешенности только для того, чтобы, встретившись с ужасом лицом к лицу, чего он всегда страшился, сразу же отказаться от всякой борьбы.

Все они, все кроме Финеаса, непомерной ценой выстроили для себя «линии Мажино» против врага, которого, как им казалось, они видели по ту сторону границы, врага, который оттуда никогда не нападал, если нападал вообще; и если это на самом деле был враг.

---

---

**notes**

# **СНОСКИ**

**1**

Сюзерен (от фр. *suzerain*) – крупный феодальный правитель. (Здесь и далее *примеч. пер.*)

«Варшавский концерт» для фортепьяно с оркестром был написан английским композитором Ричардом Эддинселлом (1904–1977) в стиле Рахманинова для фильма «Опасная луна» (1941).

Old Glory (*англ.*) – название государственного флага США. Происходит от названия конкретного флага, который 10 августа 1831 года был вручен капитану брига «Чарлз Даггетт» У. Драйверу в городе Сейлем, штат Массачусетс. При подъеме флага на мачте судна капитан объявил: «Именую тебя «Доблесть прошлого».

4

175, 8 см.

Начало американской детской считалки.

**6**

Я не... (фр.)



Французский язык (фр.).

Французские девушки не... (фр.)

9

Искаженное pantalones (*фр.*) – панталоны.

**10**

Памятная записка, меморандум (фр.).

Dixi, Dixiland – разговорное название южных штатов США.

«Dear Lord and Father of Mankind» – гимн из сборника «Гимны для прихожан» (в редакции Гарретт Хордер), слова которого взяты из поэмы американского поэта Джона Гринлифа Уиттьера «Сомский котел».

**13**

Непредвиденное осложнение (*фр.*).

Американское сленговое слово, кличка, обозначающая немца, сокращение от немецкого слова Sauerkraut, обозначающего немецкое национальное блюдо – квашеную капусту.



Обыгрывается фамилия Quackenbush: quack (*англ.*) – квакать; bush (*англ.*) – куст.

Сын Франклина Делано Рузвельта.

Пол Баньян – вымышленный гигантский дровосек, персонаж американского фольклора.

Известный афоризм герцога Веллингтона, означающий, что слава Англии куется в закрытых учебных заведениях.

Тайско-Бирманская железная дорога, также известная как Дорога Смерти – железная дорога между Бангкоком (Таиланд) и Рангуном (Бирма), построенная императорской Японией в ходе Второй мировой войны непосильным трудом 180 тысяч азиатских каторжников и 60 тысяч военнопленных антигитлеровской коалиции. Во время строительства умерло около 90 тысяч азиатских каторжников и 16 тысяч военнопленных.

Элизабет Рут «Бетти» Грейбл (1916–1973) – американская актриса, танцовщица и певица. Ее знаменитое фото в купальном костюме принесло ей в годы Второй мировой войны славу одной из самых очаровательных девушек того времени.

Section eight discharge (американский военный жаргон) – увольнение из армии за непригодностью (в связи с недисциплинированностью, недостойным поведением и т. п.), с лишением привилегий.

Гитлерюгенд – молодежная организация национал-социалистической немецкой рабочей партии.



Программы V-12 и V-5 (см. далее) – учебные программы, учрежденные командованием Военно-морских сил США во время Второй мировой войны в дополнение к набору в Военно-морскую академию, которая не могла обеспечить выпуск достаточного числа офицеров для флота. По программе V-12 готовили офицеров боевых кораблей, по программе V-5 – военнослужащих морской авиации. Военные дисциплины изучались параллельно с дисциплинами по специальности данного колледжа или университета.

Место размещения Академии ВМС США.

Военная академия США – высшее федеральное военное учебное заведение американской армии.

Дипломированная медсестра (*аббр.*).

Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. Цит. из: Цезарь. Записки о галльской войне.

Гора Вашингтон – самая высокая гора в северо-восточном регионе США, высота 1917 метров.

Знаменитая песня имеет удивительную историю. В конце тридцатых годов прошлого столетия в Германии она называлась *Rosamunde* («Розамунда»). В годы Второй мировой войны она стала боевым гимном британских и американских союзников. У них она получила название *Beer Barrel Polka* («Полька пивной бочки») и начиналась словами: «Выкатывай бочонки».

Foxhole (*англ. воен.*) – стрелковая ячейка, одиночный окоп.



Натан Хейл считается в США национальным героем и мучеником революции. Будучи захвачен англичанами в плен, якобы произнес перед казнью через повешение: «Я сожалею лишь о том, что у меня есть всего одна жизнь, чтобы отдать ее за мою страну».

Шато-Тьерри – коммуна на севере Франции, на реке Марна; в 1918 году во время Первой мировой войны союзники нанесли здесь поражение германской армии.